



18+

ЯКУБ МАЛЕЦКИЙ

# ДРОЖЬ

Великие романы

Якуб Малецкий

**Дрожь**

«Издательство АСТ»

2017

УДК 821.162.1  
ББК 84(4Пол)

**Малецкий Я.**

Дрожь / Я. Малецкий — «Издательство АСТ», 2017 — (Великие романы)

ISBN 978-5-17-113462-4

Ян Лабендович отказывается помочь немке, бегущей в середине 1940-х из Польши, и она проклинает его. Вскоре у Яна рождается сын: мальчик с белоснежной кожей и столь же белыми волосами. Тем временем жизнь других родителей меняет взрыв гранаты, оставшейся после войны. И вскоре истории двух семей навеки соединяются, когда встречаются девушка, изувеченная в огне, и альбинос, видящий реку мертвых. Так начинается «Дрожь», масштабная сага, охватывающая почти весь XX век, с конца 1930-х годов до середины 2000-х, в которой отразилась вся история Восточной Европы последних десятилетий, а вечные вопросы жизни и смерти переплетаются с жестким реализмом, пронзительным лиризмом, психологическим триллером и мрачной мистикой. Так начинается роман, который стал одним из самых громких открытий польской литературы последних лет.

УДК 821.162.1  
ББК 84(4Пол)

ISBN 978-5-17-113462-4

© Малецкий Я., 2017  
© Издательство АСТ, 2017

# Содержание

Часть I	6
Глава первая	6
Глава вторая	18
Глава третья	25
Глава четвертая	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

# Якуб Малецкий

## Дрожь

*Посвящается Марте*

Copyright © Jakub Małeckı 2017

© Денис Вирен, перевод, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

## Часть I 1938–1969

### Глава первая

Он познакомился с ней в том же поле, на котором спустя двадцать шесть лет умер под съеденной луной. Лило уже несколько часов. Он шел медленно, осторожно, чтобы не лопались мозоли на ногах. Чувствовал вонь из-под рубашки.

Она лежала в неглубокой луже. Широко раскинула руки. Щурясь, смотрела в небо и ловила губами капли.

Он сел рядом и нашупал в кармане намокшую сигарету. Наклонился, загородился плечом и кое-как закурил. Предложил ей – она не хотела. Затягиваясь, смотрел на тело, обтянутое мокрым грязным платьем. Представился – она лишь улыбнулась в ответ. Стал рассказывать, что живет в Пёлуново, возвращается с уборки урожая от дяди, который снова напился, что ему еще идти и идти, и всякую подобную ерунду.

Лег рядом с ней. Чувствовал под собой липкую прохладную землю. Шершавая стерня колола предплечья. В хмуром небе он не видел ничего красивого. Капли затекали в нос. Холодно. Девушка закрыла глаза, и они долго лежали молча, мокли. Поженились через четыре года.

Поначалу она говорила мало. Казалось, что, если ей приходится это делать, она злится на себя. В первые годы совместной жизни Янек любил иногда прилечь после обеда и с закрытыми глазами прислушивался, как она шумит кастрюлями, хлопками гоняет кошек и орудует в печке кочергой. Он быстро привык к ее молчанию и к звукам, наполнявшим его дом, который вообще-то не был его. Собираясь в поле, тоже принадлежавшее чужим, он сплетал руки на ее животе и утыкался лицом в худую шею. Она пахла собой и чуть-чуть молоком, как щенок.

Бледные веснушки сыпались с носа на щеки. Волосы цвета ржавчины она собирала в длинную косу. Временами, задумавшись, прикусывала ее кончик и до конца жизни не отучилась от этой привычки.

Вставала затемно и никогда его не будила. Когда он появлялся на кухне, взлохмаченный, как пучок соломы, махала ему со двора. Приносила яйца и не торопясь укладывала их в ящик, а он просил, чтобы она спела. Обычно она ничего не отвечала, лишь иногда говорила: «Не дурачься». Тогда он открывал неглубокий ящик стола и доставал истрепавшееся на уголках Священное Писание в черной кожаной обложке, а потом медленно прочитывал вслух одну страницу. Вернувшись с поля, читал ее второй раз при свете свечи, уже тихо.

На завтрак съедал две краюхи хлеба, по воскресеньям запивая стаканом теплого молока, которое она приносила из коровника в бидоне. Ей нравилось смотреть, как он ест. Она подпирала подбородок руками, а локти съезжали все ближе к центру стола. Любила сидеть на солнце, закрыв глаза и скрестив руки на груди. Коты обвивались вокруг ее ног и, тихо мурлыча, спали.

Она говорила, что ее родители давно умерли. Янек не знал подробностей.

– Был такой музыкантишка, на флейте свистал, но уродец! Ноги кривые и весь какой-то перекошенный, – сказал ему как-то сын солтыса, поднимая цепом столб пыли. – Крапивой его прозвали, а все потому, что вечно в кустах спал. Все мы над ним смеялись, он болтал разное, что святых в небе навещает, с чертом разговаривает, и всякое там. Слова такие выдавал, словно сам их придумал. Были у него большие гнойники, как будто выросшие на спине. Ходил, опустив голову, и играл без конца какие-то мелодии, которые сам выучил. Вроде утонул, но отец говорит, мужики его забили.

- А мать?
- А чего?
- Она как умерла?
- Да ведь мать жива.

Матерью Иренки якобы была сумасшедшая Дойка, которая ходила по деревне и ухаживала за животными в обмен на несколько глотков молока. У нее были длинные седые волосы, слипшиеся на спине, а руки такие натруженные, будто она жила лет сто или даже больше. Обычно она сидела под деревянным памятником, который, вероятно, должен был представлять ангела, но больше напоминал курицу или в лучшем случае фазана. Придвигала колени к подбородку, а огромная грудь расплывалась под просторной холщовой рубахой. Когда кто-нибудь проходил мимо, она улыбалась или выкрикивала непонятные проклятия, колотя кулаками по земле.

О родителях девушки ему рассказывали сын солтыса, слепой Квашня и старшая дочь Паливоды. Их версии различались, но Крапива всегда представал в них помешанным чудачком, который уверял, что общается с чертями и святыми. Поговаривали, что он изнасиловал Дойку, когда та была еще девочкой. С тех пор они почти не расставались. Клянчили еду, спали в кустах и в разворошенных стогах сена. В Пёлуново одни говорили, что Крапива утонул, другие – что его убили несколько пьяных мужиков. Его обвиняли в несчастьях, обрушившихся на деревню. После его смерти Дойка вырезала из засохшего ствола уродливую крылатую фигурку.

Крапиву помнили только пожилые, а про Дойку в деревне вовсе не говорили. Эта толстая женщина с безумными глазами была как старая бездомная собака, которую каждый день видишь, но не замечаешь. Янек так никогда и не спросил про нее у жены. После беседы с сыном солтыса лишь кланялся Дойке, вызывая у нее истерический смех.

\* \* \*

Прежде, чем они поженились, Янек Лабендович смастерил войну.

Он купил в Радзеюве катушку, детектор и конденсатор, одолжил наушники у Паливоды и на несколько дней засел со всем этим богатством в сарае, роясь на полках, склеивая, обматывая, собирая, ломая и собирая снова, пока наконец не услышал шум, в котором выделялись слова.

На рынке он узнал, что Варшава принимает на двухсот пятидесяти витках, Вильно – на семидесяти пяти, а Познань – на пятидесяти. Отнес детекторный приемник к Ткачам, у которых тогда жила Иренка, поставил на стол и торжественно поднял наушники.

– *Сегодня в пять часов сорок минут утра немецкие отряды пересекли польскую границу, нарушив пакт о ненападении, – сообщил шуршащий голос. – Бомбардировкам подвергнут ряд городов.*

Ткач встал, опрокинув стул, его жена нервно засмеялась. Иренка стояла рядом с ситом в руках и смотрела на радио, будто ждала, что обладатель голоса выйдет наружу.

В тот же вечер Янек по просьбе Ткача уничтожил приемник, но война, которую он смастерил в сарае, продолжалась. Десять с лишним месяцев спустя, высокий, аккуратно причесанный мужчина в форме вошел в хату Лабендовичей, сел на лавку и вздохнул, словно ему надоело не только хождение по домам, но и вообще все на свете.

Родителей Янека и двух его сестер депортировали через три недели. Янек по ошибке остался. В тот момент он снова работал на сборе урожая у дяди в Квильно, и, поскольку его не было в тамошнем списке жителей, Янека в итоге не забрали. Иренка тоже осталась: ее не было ни в каких списках.

Вскоре в дом Ткачей вселилась некая *Фрау Эберль* с тремя дочерьми, а Янека и Ирену определили помогать ей.

Немка знала о депортационной ошибке, но разрешила им жить в отдельном доме, стоявшем в нескольких сотнях метров от ее нового хозяйства. Учила их немецкому. Иногда приглашала за стол. Янек работал меньше, а ел лучше, чем раньше. Ирена помогала *Фрау* Эберль на кухне и с дочерями.

В пустом хлеву в хозяйстве, оставшемся от Бжизяков, Янек начал тайно разводить свиней, которых отлавливал в полях. Он подозревал, что кто-то из крестьян, взбесившись из-за депортации, выпустил их назло неизвестно кому. Янек ходил к ним по ночам. Когда убивал первую, она укусила его за ногу так сильно, что он едва справился.

На всю жизнь ему запомнилась та ночь и резкое зловоние смерти. Он душил свинью цепью, концы которой соединил металлическим прутком и крутил им, затягивая петлю на дрожащей шее животного. Паника и смрад. Несколько десятков килограммов брыкалось из стороны в сторону, а морда беспорядочно металась. Янек видел, как у него набухают вены на предплечьях. Внезапно почувствовал зубы, мягко входящие в плоть. Боль разлилась от ног до головы и там полыхнула, да так что его всего затрясло. Стены хлева клонились внутрь, а пламя поставленной в углу свечи становилось все больше и больше. Когда перед глазами Янека заплясали черные мотыльки, свинья наконец рухнула на глиняный пол. Янек отпустил цепь, сел на чурбан и закурил. Весь хлев дышал его легкими. Кровь пульсировала в стенах.

Через три часа он ехал на взятом у *Фрау* Эберль велосипеде, скрипевшем в черной тишине. Переброшенный через раму мешок раскачивался и бил по ляжкам. Правая нога напухла под штанами и стала неметь. Серый обрубок месяца полз за облаками. Выбоины на дороге были больше, чем днем. Тогда все казалось больше.

Янек чувствовал, как теплая кровь струится ему в ботинок. Черные силуэты плавали по обе стороны дороги. Они растворялись, когда он смотрел на них. У себя он знал каждое дерево и каждый камень – здесь все было чужое.

Темнота перед ним перетекла в голоса. Скрежет цепи затих, подошвы шлепнули по мелкой луже. Он ждал. Ждал, вглядываясь в перистые призраки кустов и в раскинувшееся за ними огромное черное ничто. Сквозь это огромное ничто кто-то шел ему навстречу.

Янек спрыгнул с велосипеда и бросился в рожь. Ноги увязли в грязи. Он ускорял шаг, потом побежал, несмотря на боль. Колючие колосья царапали лицо и плечи. Куски мертвой свиньи бились друг о друга, раскачивая велосипед. Штаны насквозь промокли от крови и пота.

Присел на корточки и замер, прижимая велосипед к животу. Съежившись, прислушивался к шагам и словам. Последние были на польском.

– В такую ночь никому нельзя ходить одному. – Янек был уверен, что уже много раз слышал этот высокий писклявый голос, но в ту минуту не мог сопоставить его ни с одним знакомым лицом. – И уж точно не женщине во цвете лет.

В ответ раздался громкий истеричный смех, шаги на мгновение утихли, а потом он опять их услышал. Наконец воцарилась тишина. Янек выждал еще несколько минут и двинулся дальше, по щиколотки погрязнув в месиве.

Вышел на дорогу у деревянного памятника Крапиве. За нечеловеческим силуэтом с распростертыми крыльями раскинулось поле, раньше принадлежавшее Ткачам. Он повел велосипед в сторону дома, горбатая крыша которого уже темнела вдаль. Ночь хлюпала в ритм его шагов.

Иренка перевязала ему ногу бечевкой. Через четыре дня, когда отек поднялся уже выше колена, а кожа приобрела цвет мха, они сели за стол, и она произнесла:

– У нас будет ребенок.

Смотрела на него, прикусив обтрепавшийся кончик косы. Он лишь покивал головой и положил руку ей на колено, а потом пошел спать и не вставал двое суток. *Фрау* Эберль сказали, что его покусала собака. Когда после пятидесяти часов сна он вылез из-под одеяла и пришел на кухню, осторожно наступая на правую ногу, Ирена штопала за столом пиджак.

– Жена Паливоды одолжила, – сообщила она, когда он поцеловал ее в макушку. – На свадьбу. Тебе должен подойти.

Они позавтракали, а потом осмотрели его ногу.

Опухоль спадала. Остался только длинный фиолетовый шрам, тянувшийся от колена через икру. По форме он напоминал вопросительный знак.

\* \* \*

Через месяц после убийства свиньи он поехал к ксёндзу.

Колеса брички поскрипывали на дороге. Он причесал светлые волосы гребешком и потер рукой гладко выбритую щеку. Свадебный костюм Паливоды был капельку тесен, но кто бы стал переживать из-за этой капельки. Рукава вычищены щеткой, юфтевые ботинки блестели, на руке часы «Омега», взятые взаймы. Бричка тоже – у *Фрау* Эберль, без которой не было бы ничего: ни Янека, ни всей этой свадьбы.

Далеко впереди воздух дрожал от тепла. Ветер обдувал щеки и волосы. Янек повернул лицо к солнцу и закрыл глаза. Вскоре он миновал обшарпанную деревянную часовню и брошенное хозяйство Конвентов. Вдохнул в легкие запах сирени, цветущей у этого пустого дома, и взглянул на широкое поле, в котором много лет спустя ему предстояло умереть.

Он направлялся в Осенцины. Приходской священник Шимон, собиравшийся венчать их в субботу, решил все-таки сделать это раньше, хотя был вторник, а через день праздник Тела Господня. Шимону Ваху было около семидесяти, седые волосы расчесаны на пробор. В правом кармане сутаны у него всегда лежал мешочек слипшихся карамелек.

Янек обернулся и в очередной раз проверил сумку с подарком. Он придумал, что подарит ксёндзу закопченную украдкой ветчину из свиньи, которая чуть его не убила, хотя знал, что ксёндз и так, скорее всего, отдаст ее своему законоучителю.

Дорога сворачивала вправо. На краю заросшей сорняками канавы стояли два человека.

Пухлая девушка, помогавшая в хозяйстве, оставленном Бжизьяками, и комендант полиции Йохан Пихлер, который, по слухам, арестовал, а затем расстрелял десятерых священников из Бытоня. Он облокотился о мотоцикл и курил. Улыбался.

Дыхание сперло в легких. Дева Мария, исполненная благодати, умру здесь, в этом костюме, за несколько недель до свадьбы, умру, он уже смотрит, с интересом, бровь приподнял, кажется, на этом расстоянии точно не видно, но определенно смотрит, благословенна Ты между женами, Янек не сбавляет скорость, лошадка по-прежнему выстукивает веселое цок-цок, цок-цок, благословен плод чрева Твоего, Иисус, солнце по-прежнему светит, Богородица Дева Мария, Пихлер отрывается от мотоцикла, молись о нас, грешных, он выпрямляется, рука тянется к поясу, ныне и в час смерти нашей, нет, не к поясу, а ко лбу, Пихлер салютует, аминь.

Янек козырнул в ответ и погнал лошадь. Цок-цок, цок-цок, а в голове один-единственный вопрос: что сделает Пихлер, когда узнает, что салютовал поляку?

В Осенцины он приехал весь потный. Зашел в дом священника и долго трясся, окруженный образами святых. В этом же доме спустя четыре с половиной недели он поправлял на шее галстук, поправлял пиджак и брюки поправлял, будто боялся, что из-за какого-нибудь залома на одежде ничего не получится.

Получилось. После венчания они вернулись в Пёлуново, где Иренка подала бульон, котлеты с картошкой и салатом из свежих огурцов, а *Фрау* Эберль не спросила, откуда у них мясо, как не спрашивала уже много раз до этого. Перед ее уходом Янек отдал часы, а она снова вручила ему их.

– *Lass es euch gut gehen. Nehmt das als Andenken*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Живите счастливо. Возьмите это на память. (нем.)

Через три дня Пихлер убил приходского священника. Приехал к нему с утра в компании неких Дауба и Хаака. Дауб был тупой, шумный и высокий, а Хаак просто тупой. Они посадили ксёндза в красивый блестящий «опель» и по пути долго рассказывали, что именно больше всего любят делать с женщинами. Самая богатая фантазия была у Дауба. Остановились между Самшицами и Витово, в месте, о котором до смерти ксёндза сказать можно было немного, а может, и ничего. Пихлер трижды выстрелил ему в затылок. Первая пуля лишила священника половины лица. Законоучитель Кужава в это время сидел в ризнице в одном исподнем, напевал что-то себе под нос и резал ветчину, подаренную молодыми.

На следующий день крестьянин из Самшице обнаружил священника, лежавшего на животе в луже крови и дождя. Он опознал его по сутане – по-другому было невозможно.

Позднее говорили, что тот навлек на себя гнев какой-то проповедью, но все в деревне знали: чтобы умереть в красной луже, не требовалось никаких поводов. Особенно если курок спускал Пихлер.

\* \* \*

Лето было сухое, а урожай приличный. В следующие шесть месяцев Янек убил еще двух свиней, последнюю прямо перед рождением ребенка. Роды приняла Хедвиг, старшая дочь *Фрау Эберль*.

Мальчик был маленький и весил немного. Взгляд такой, будто ему немедленно хотелось напраказничать. Мягкие светлые волосы липли к голове. Его назвали Казимеж.

– Кажу, Кажу<sup>2</sup>! – ходила вокруг него *Фрау Эберль*. – *Mein lieber Junge!*<sup>3</sup>

Она забрасывала его подарками, водила на прогулки. Прижимала к себе, хотя ему это и не нравилось. Разрешала Иренке работать меньше, чем прежде.

Летели месяцы, а у Янека не было времени скучать по матери, отцу и сестрам. Они с Ирккой периодически высылали подписанные фотографии, надеясь, что в той далекой стране, куда их забрали, есть еще кто-то, кто сможет посмотреть эти снимки.

Не успели оглянуться, как Казю встал с четверенек и начал произносить первые слова. Папа, *Mutti*, кукла, *Hund*.

Порой Ирена входила в комнату *Фрау Эберль* и хватала ее за руку.

– *Ich zeige Ihnen etwas*<sup>4</sup>.

Вела ее во двор, где Казю играл с шиной или рисовал на земле зигзаги.

– Скажи тете, что ты выучил, – наклонялась к нему.

Мальчик поднимал глаза, напрягался и говорил медленно, с усилием:

– Tan-te!

– Po-len!

– Hit-rrrrrr!<sup>5</sup>

*Фрау Эберль* складывала руки под подбородком и брала его на руки, а затем поднимала высоко над головой.

– *Mein lieber Junge!*

Через некоторое время Иренка забеременела второй раз. Когда в ее теле начинался новый человек, закончилась война. *Фрау Эберль* ходила по дому, качая головой и бормоча себе под нос слова, которых никто из них не понимал. Узнав, что ее переселяют назад в Германию, она напилась впервые с тех пор, как ее нога ступила на чужую землю, а потом впервые на этой

---

<sup>2</sup> Искаженное произношение польской уменьшительно-ласкательной формы Казю.

<sup>3</sup> Мой милый мальчик! (нем.)

<sup>4</sup> Я вам что-то покажу. (нем.)

<sup>5</sup> Тетя! Польша! Гитрер! (нем.)

чужой земле блевала. Ирена в это время сидела с девочками, все четверо плакали, каждая в своем кресле.

Янек пошел к Паливоде и сказал, что боится.

– Да все мы боимся! – У Паливоды были седые бакенбарды и голова лысая, как яйцо. Он хромал на одну ногу. Был глуховат и поэтому не говорил, а кричал.

Они сели на ступеньки и закурили. Мирка Паливода принесла бутылку самогонки и разлила по стаканам. Грязный мальчик и еще более грязная девочка стреляли из лука по яблоку, висевшему на веревке, и все время промахивались.

– Не могу вспомнить, как было раньше, – сказал Янек и снял с языка крупницы табака.

– Тьфу! В заднице мы были так же, как и сейчас! – прокричал Паливода в ответ.

Они выпили, а потом выпили снова. Скручивая очередную папиросу, Янек заметил, что у него дрожат руки.

– А может, это еще никакой не конец?

– Поглядите на него, хотел бы войны до сраной смерти! – Паливода показал фигу с маком и налил водки. – Все хорошее когда-нибудь кончается!

\* \* \*

Вскоре наступила осень, а Казю разговорился в полную силу. Расхаживал по двору и декламировал во все горло с поднятой головой:

– Корrrrrрова!

– Фажан!

– Жаяц!

– *Henne!*

– *Ente!*

– *Schwein!*<sup>6</sup>

Немцам в конце концов пришлось бежать. *Фрау* Эберль паковала самые ценные вещи и почти перестала разговаривать.

– *Du bringst mich nach Hause!*<sup>7</sup> – однажды вечером заявила она Янеку тоном, не терпящим возражений, когда тот занимался телегой.

– *Ja*<sup>8</sup>, – он кивнул, а она, не произнеся ни слова, зашла в дом и хлопнула дверь.

Накануне отъезда он всю ночь ворочался, потев под толстым одеялом, вставал и шел на кухню, курил у окна, потом ложился и опять – с боку на бок, с боку на бок.

Встал рано, побрился, выкурил сигарету. Через два часа уже сжимал поводья и смотрел на длинную дорогу, тянущуюся перед ним и ведущую в чужую страну.

Проехали Скибин, Радзеюв и Чолово, потом Хелмце, Яноцин и Гродзтво. Вдалеке показалась Крушвица. Преодолели каких-нибудь двадцать три километра, до границы оставалось десять раз по столько же. Возможно, больше.

«Там меня и убьют», – думал Янек.

*Фрау* Эберль сидела на телеге с дочерьми среди мебели, ковров и мешков с одеждой. Рассказывала младшим девочкам сказки, из которых Янек понимал примерно каждое второе слово. В своих мыслях он тоже понимал немного. Оглядывался назад и по сторонам, вытирал вспотевшие руки о штаны. Попробовал свистеть и тут же перестал. Казалось, будто кто-то через живот вытащил ему кишки и привязал к дереву за домом. С каждым километром его становилось все меньше. Подташнивало. Била дрожь.

---

<sup>6</sup> Курица! Утка! Свинья! (нем.)

<sup>7</sup> Отвезешь меня домой. (нем.)

<sup>8</sup> Да. (нем.)

В Крушвице он остановил коней, обернулся и сказал: будь что будет, но ему надо по нужде, по серьезной нужде.

– *Nein!* – завопила *Frau* Эберль и встала на телеге. – *Lass mich hier nicht alleine stehen!*<sup>9</sup>

Янек объяснил, что ему необходимо, что он не выдержит, показал на промежность и сделал страдальческое выражение лица.

– *Du willst davonlaufen...*

– *Nein...*

– *Geh! Komm aber zurück! Verstehst du? Du sollst zurück kommen!*<sup>10</sup>

Убегая, он слышал, как женщина проклинает его, как желает ему смерти, ему и Ирке, «и чтоб у вас *Teufel* родился, а не *Kind*, дьявол, а не ребенок», – кричала *Frau* Эберль, а Янек бежал.

Он мчался по лесу вдоль дороги, спотыкался и хрипел, но бежал все быстрее, перемахивал через поваленные деревья и срывал головой паутину. После нескольких километров утомился и замедлил шаг. Спустя четыре часа увидел табличку «Квильно», сел в ров и долго в нем просидел. Приближаясь к дому, увидел во дворе Ирону. За ней шелестело белье на веревке у колодца.

Он медленно подошел к ней, обнял и вдохнул в легкие молочный запах ее кожи. Ухватил косу и взял кончик в рот, а затем прикусил его. Она отерла его лицо ото всего, чего он потом будет стыдиться, и улыбнулась так, как никогда раньше ему не улыбалась. В доме раздался топот маленьких босых ножек. Казю выбежал на улицу и, выпрямившись, встал перед отцом. Посмотрел вверх, напрягся и произнес:

– Швинья!

\* \* \*

Янек так никогда и не узнал, добралась ли *Frau* Эберль до Германии. Она часто снилась ему: стояла на телеге и проклинала его, Ирону и их еще не родившегося ребенка. Ссутуленная, она напоминала издали неудачную скульптуру Крапивы, а над ее головой кружился густой сонм черных теней. Он пытался восстановить в памяти слова, которые она тогда прокричала, но чем больше старался, тем сильнее размывался образ.

Вскоре на свет появилось маленькое бесцветное чудовище. Оно рождалось тридцать часов и чуть не убило Ирону, совершенно охрипшую от крика. На этот раз роды принимала старая жена Паливоды.

Он был белый от бровей до ногтей на ногах. Под кожей кое-где виднелись тонкие розовые полоски. И только зрачки красные, словно сквозь них просвечивала внутренность головы. Метался и лягался. Янек старался на него не смотреть. Жена Паливоды, руки которой были по локоть в крови Ироны, переводила взгляд с висевшего на стене креста на ведро с грязной водой и обратно. Наконец, она ушла с кухни, тихо закрыв за собой дверь.

Янек посмотрел на жену. Она долго мерила его вызывающим взглядом. В конце концов, он подошел к мальчику и осторожно коснулся его ручки. Тело было теплое. Ручка мягкая. Провел пальцами по его животу, затем дотронулся до лба. Медленно подложил под него руку и поднес к лицу. Между маленькими ножками болталась посиневшая культя пуповины.

– Задуши его, Янек, – сказала Ирена, прижимаясь щекой к вымокшей подушке.

Он молча покачал головой, положил ребенка на валявшиеся на полу тряпки и снова выглянул в окно. Бледные облака постепенно уплывали за горизонт. Кот нехотя бил хвостом по земле.

---

<sup>9</sup> Нет! Не оставляй меня здесь одну! (нем.)

<sup>10</sup> – Ты хочешь сбежать... – Нет... – Иди! Но вернись! Понял? Ты должен вернуться. (нем.)

– Надо его помыть, – сказал он, поворачиваясь к двери. – И завернуть во что-нибудь.

Тишина. Лишь биение маятника в корпусе часов.

– Только подогрей, – простионала она. – Воду.

– Что?

– Подогрей, не то простудится.

Он кивнул и вышел.

Ребенка назвали Виктор. По прошествии лет они не могли вспомнить, кто так решил. Виктор Лабендович. Полагали, он не проживет и года.

Временами им казалось, что он приобретает цвет. Смотрели на него под разными углами и в разном освещении, терли бледную кожу и изучали пушок на ней, а потом кивали друг другу. Да, вроде розовеет. Да, похоже, волосы на родничке темнеют. Глаза как будто немного голубые. Через несколько месяцев перестали это делать.

Вскоре после жатвы из Германии вернулись родители Янека и две сестры. Анеля заметно выросла, а ее волосы почти доходили до пояса. Она говорила быстро и нечетко, как и до войны. У Ванды, которую всегда считали более красивой, теперь был кривой нос, придававший лицу ведьмовской вид. Поговаривали, что его сломал в плену сын немецкого хозяина.

Мать и отец сильно постарели. Когда они вчетвером появились во дворе хозяйства в Пёлуново, казалось, что останутся так стоять до самой смерти. Они лишь оглядывались по сторонам, будто хотели убедиться, что все это действительно по-прежнему существует. Янек бегал вокруг них, обнимал, прижимал к себе, кричал что-то о прекрасном будущем, прекрасном урожае, прекрасной жене, и что теперь вообще всегда будет хорошо.

Они стали жить все вместе в старом доме Лабендовичей. Отец, мать, Анеля, Ванда, Янек, Ирена, Казю и бесцветный мальчик. Мать плохо спала. Отец во время войны подхватил болезнь живота и ночи напролет постанывал. Девочкам снились кошмары. Казю капризничал, у Виктуса резались зубы. Когда Янек осознал, что больше не выдержит, пришло спасение.

6 сентября Польский комитет национального освобождения выпустил декрет, согласно которому была проведена реформа, подразумевавшая в том числе «создание новых самостоятельных хозяйств для безземельных, рабочих и земледельцев», – это означало, что Янек и Ирена могли выехать из небольшой избы, но только теоретически, поскольку на девяти гектарах поля, выделенных им комитетом, не было даже лачуги, не говоря уже о доме. Следующие два года Янек от рассвета до заката перерывал плугом недружелюбную к нему землю и собирал то, что она позволяла собрать, а затем продавал вместе со свиньями, которых разводил у отца. По ночам же выкапывал глину и при свете костра укладывал из нее стены своего будущего дома.

Когда он засыпал в избе, наполненной дыханиями близких, ему постоянно снилась *Фрау Эберль*, стоящая на телеге среди черных силуэтов, вившихся вокруг ее головы. Она показывала пальцем на дорогу: по ней полз его маленький *Teufel*, его маленькое бесцветное чудовище, которого он старался любить. Ребенок улыбался ему и приближался все быстрее, но только Янек собирался взять его на руки, как просыпался в абсолютной темноте ночи и больше не смыкал глаз.

Подаренная комитетом земля выплевывала из себя все меньше. Ее не тронула ни засуха, ни чересчур обильные дожди, но, несмотря на это, она как бы мертвела. Паливода жаловался на то же самое.

– Если так и дальше пойдет, помрем с голоду! – кричал он, когда они присаживались на закате со стаканами самогона.

Зараза охватила Пёлуново целиком. По пути в город все реже встречались телеги с урожаем, улыбки стали редкостью. Из уст Дойки, которая за последние несколько лет сильно постарела, помимо криков и смеха все чаще вырывались слова.

– Вымрут, вымрут все червячищи, вымрут, потому что с черным связались, – говорила она обычно проходившим мимо памятника. – Вымрут, и мир погорит, ибо черное по нему лазит и бегаёт, бегаёт и лазит. А потом сожрет все, землю сожрет, звезды сожрет и луну сожрет, и все остальное, потому что черное только жрет, жрет и жрет!

Однажды Янек услышал, как Дойка, обратившись к жене старого Биняса, сказала, что если не убьют «мальчишку без цвета», то «все кончится».

На следующий день он пришел к скульптуре и долго ждал, пока Дойка проснется. Она вытерла лицо и села, обхватив ноги руками.

– А вы бы перестали глупости болтать про моего мальчика, – заявил он, присев перед ней на корточки.

– Твой сын великий, о, такой великий, но только когда будет холодный. – Дойка покачала головой, а затем громко рассмеялась. – Вытащи из него сердце и кишки из живота, намажь на плуг – такой урожай соберешь, большой, прекрасный, огромный! Вплети волосы в сеть и зайцев наловишь столько, что всю зиму будет сплошная жратва, и брюхо полное, жратвы вот столько. Пейте с Ирккой его кровь и будете здоровы, и не помрете никогда, никогда не помрете, никогда!

Янек подошел, наклонился и схватил Дойку за горло. Перевернул ее на спину и прижал к земле. Они долго смотрели друг на друга, но не произнесли больше ни слова, после чего он встал, отряхнулся и направился к дому. На середине пути до него донесся ее дикий прерывистый смех.

\* \* \*

Виктусь и Казю росли в доме, полном красивых женщин, рыцарей на конях и пар, кружащихся в танце. Их будил грохот пистолетов и отголоски битв на мечах, а убаюкивали экзотические птицы и звуки дорогих роялей.

У Ирены появилась привычка. Когда Янек научил ее читать, она набросилась на книги с такой прожорливостью, будто годы читательской аскетичности выработали в ней чувство голода, который невозможно удовлетворить. То, что она делала, нельзя было даже назвать чтением: она была как в дурмане, сходила с ума. Месила реальность, словно тесто, и лепила из нее миры. Вставала перед восходом солнца и шла к коровам свекров, потом садилась на лавку перед домом и исчезала между страницами. Позже возвращалась в кровать и пересказывала Янеку то, что прочитала, имитируя звуки боев, дуэлей и пиров. Передвигаясь по дому, она на самом деле вышагивала по дворцовым коридорам. Жила в Пёлуново и тысяче других мест одновременно.

Брала книги у дочери землевладельца, жившего далеко, у шоссе. Возилась на кухне, то и дело переворачивая страницы. Могло сложиться впечатление, что ей все равно, что она в данный момент читает. Она открывала одну из нескольких начатых книг, и дома сразу появлялись Тереса Сикожанка, Михал Володыёвский, Красный шут, Виннету, Борух, Гекльберри Финн, Кароль Боровецкий, Жан Вальжан, Миколай Сребрный, Изабелла Ленцкая, Ружицкий и Квирина.

Тем временем пришел апрель, а с ним – мертвые курицы. Их находили с распоротыми, едва надкусанными шеями. Скоро выяснилось, что по окрестностям рыскает бешеная собака. Иногда видели, как она, переваливаясь с боку на бок, бродит по полям или вокруг построек. Мужики несколько раз пытались поймать ее, но каждый раз возвращались ни с чем. И вот наконец собака появилась на людях.

Те, кто первыми вышли в тот день из костела, перекрестились больше раз, чем обычно. Взъерошенный и заканчивающийся овальной мордой грязный шар медленно тащился в сторону храма, оставляя на земле следы из желтой пены. Мужчины, успевшие выйти вперед,

искали глазами что-то, чем можно было прогнать зверя, а лучше всего прикончить. Церковный сторож – угрюмый человек с большим сердцем и крысиным лицом – отправился в дом священника за вилами, которыми открывал высокие окна.

Он не успел обогнуть костел, как из плотной толпы прихожан неожиданно выскочил Виктусь Лабендович и, подняв руки над головой, вприпрыжку пошел вперед. Янек крикнул ему вслед, но не сдвинулся с места.

Мальчик подбежал к собаке, наклонился к ней и рывкнул, шевеля руками. Желтые зрачки некоторое время вглядывались в него, после чего собака развернулась и неторопливо поплелась назад. Когда она уже заворачивала за угол дома священника, сторож подбежал к ней и одним ударом вил проткнул в трех местах. Придавленное к земле животное взвизгнуло и сдохло в конвульсиях.

Ирена подошла к Виктусю, на глазах у всей деревни перебросила его через колено и трижды шлепнула. Казю в это время стоял за спиной у отца, вперившись в мать и младшего брата. Священник Кужава быстро перекрестился и вернулся в костел. Прихожане разошлись по домам.

Дома Лабендовичи объясняли сыновьям, почему не следует приближаться к бешеным собакам.

– А откуда известно, что она бешеная? – спросил Казю.

– Она не была бешеная, просто ей было грустно и больно, – заявил Виктусь, прежде чем родители успели что-либо ответить.

Впрочем, голова Янека была занята более серьезными заботами. Урожай становился все хуже. Черные проплешины на полях, где не росли даже сорняки, увеличивались. Раз в несколько недель кого-то из крестьян сажали в радзеювскую тюрьму за невыполнение обязательств по поставкам. Поначалу оно относилось только к зерну и картофелю, но его быстро расширили за счет молока и убойного скота. Янек, как и другие, подкупал солтыса, заключал сложные «сделки» с соседями и торговал со спекулянтами, но математика была неумолима.

Жители Пёлуново опасались, что земля в итоге перестанет рождать что-либо, кроме камней.

\* \* \*

Здобыслав Кужава, при жизни ксёндза Шимона выполнявший функции законоучителя, стал приходским священником, причем подошел к этому основательно. Говорили, что он совсем перестал есть, а по вечерам бил себя мокрым ремнем до тех пор, пока не цепенел и не видел Бога. По слухам, он знал наизусть многостраничные фрагменты Священного Писания, а все, что имел, отдал на строительство храма в Радзеюве. Проповеди, с которыми он каждое воскресенье пламенным голосом обращался к прихожанам, стиснувшимся на лавках, обсуждали потом всю неделю в полях и на кухнях.

Как-то раз он поднялся на амвон, в тишине обвел взглядом собравшихся, а потом закричал, сжимая пальцами края кафедры:

– Возлюбленные дети Божии! Вы идете по жизни, неся кресты, впивающиеся в плечи ваши занозами греха человеческого, и делаете все, что в ваших силах, чтобы Господь ваш Иисус Христос в тепле сердца своего нашел места и для вас, когда настанет время вечного покоя. Возлюбленные. Все вы каждое утро открываете глаза и направляете молитвы священнейшему Богу, прося его, чтобы в своей любви бесконечной ниспослал вам милость плодородной земли и обильного урожая. Чего же еще вы желаете? Спокойствия желаете. Жизни в согласии с Писанием. Любви ближнего и счастья. Но что, если на вашем пути встает преграда, поставленная самим ангелом, падшим с небес, хищным зверем, выползшим из бездны адской,

дьяволом, что вьется между домами нашими, выискивая щели в совести нашей, сквозь которые он мог бы в нас проскользнуть? Что же вы делаете тогда, возлюбленные Господа? Обходите ее?

Священник направил взгляд на Виктуса, который изо всех сил боролся со сном.

– Но что, если адская бестия со всей присущей ей ловкостью и коварством делает этой преградой вещь кроткую и внешне невинную? Что, если вас подвергают испытанию трудному, как искушение Христа в пустыне? Позволите ли вы змею обмануть себя? Дадите ли ввести себя в заблуждение бестии преогромной, льющей вам в уши адскую ложь за ложью? Нет! Пускай из семян веры вашей вырастут мощные деревья, плоды которых славить будут любовь Бога и которые не склонятся под вихрем козней бесцветных слуг змея! Крыжовник Божий! Обман и грех протыкай шипами своими! В тебе надежда на уничтожение черных преград адских, в тебе надежда на освящение имени Иисуса Христа. Не поддавайтесь, братья и сестры, слугам челюстей мрачнейших, не поддавайтесь во имя Отца и Сына, и Святого Духа! Виноград Божий! Не позволяй, чтобы побег твой сломил ураган дьявольских сомнений! Раскрой глаза, узри истину во Христе. Узри истинное обличье змея, ползающего совсем рядом! Возлюбленные. Поставьте совесть вашу на страже нашей деревни и загляните глубоко в сердца свои, дабы найти в них истину, которую заронил в вас Господь наш в небе. Я вижу вас всех, вижу вас во Христе, ибо души ваши имеют глубокий, данный Господом нашим цвет. Вижу вас всех в повседневных стараниях справиться с трудами земного бытия и заработать вечную награду измученными руками! Вижу вас, ибо души ваши окрасила любовь Иисуса Христа. Но остерегайтесь. Остерегайтесь, братья и сестры, ибо змей ползает прямо под вашими дверями. Остерегайтесь, ибо среди вас есть такие, чья душа совершенно бесцветна. Черпайте силы у Пресвятой Девы Марии и не позволяйте, чтобы слуги дьявола отняли у вас плоды, кровью и тяжким трудом собираемые поколениями во славу Господа. Нечеловеческие чудовища с бесцветными душами готовы уничтожить все, что Иисус Христос пожертвовал вам через свою смерть на кресте, но я верю, что укрепленные Словом вы сможете отразить атаки темноты. Верю, что распознаете среди вас бесцветных слуг чудовища, и в самый ответственный момент у вас не дрогнет рука, как не дрогнула она у Авраама.

– Аминь.

\* \* \*

Виктусь подрастал. Влезал куда не надо, болтал без остановки, болел и сразу выздоравливал, кусал брата и сам позволял ему себя кусать, плакал ночью, спал днем, гонял кур и глотал все, что можно было проглотить.

Ранней осенью Янек закончил строить дом. Он состоял из четырех смежных комнат, имел небольшой погреб и был крыт соломой.

В 1948 году, когда впервые состоялась Велогонка Мира, был создан народный ансамбль песни и танца «Мазовше», возникла Польская объединенная рабочая партия и отменили карточки на товары первой необходимости, Лабендовичи поселились в собственном новом доме. Через четыре дня Янек попал в тюрьму.

Его посадили за свиней, а точнее, за их отсутствие. Забрали в Радзеюв, где он отсидел две недели.

В камере, на удивление просторной, он познал, что такое стыд, бессонница и парикмахер Кшаклевский. Из всего перечисленного парикмахера Кшаклевского переносить было особенно сложно. У него был сын возраста Виктуса, отличавшийся прямо-таки безграничными талантами. Парикмахер Кшаклевский решил провести время заключения с пользой и рассказывал сокамернику о своем трехлетнем мальчике. Через два дня Янек впервые подумал, что в итоге свихнется.

На восьмой день Кшаклевский охрип от разговоров. На девятый замолк, а вечером разразился плачем. На одиннадцатый признался, что его сын никакой не исключительный. Он болен и, скорее всего, никогда в жизни не сможет говорить.

– Ты не представляешь, что это за чувство, – прошептал он среди ночи и потом уже больше ничего не говорил.

Они попрощались, пожав друг другу руки и дав обещание, что когда-нибудь еще встретятся.

Янек вернулся домой. С новыми силами принялся за свои девять непокорных гектаров и решил: или он, или они. Он вставал задолго до рассвета и ложился сильно после заката. Поклялся себе, что больше никогда не сядет в тюрьму за какую-то свинью или же ее отсутствие. Мальчики, несмотря на голод, росли быстро. Ирена улыбалась чаще, чем раньше. Жизнь начала складываться.

– Теперь уже все будет хорошо, – услышал он от нее однажды вечером.

– Знаю, – ответил и обнял жену, глубоко вдыхая молочный запах ее кожи.

Через месяц их бесцветный сын умер первый раз.

## Глава вторая

Бронек Гельда уже почти не помнил отца. В воспоминаниях перед ним представала лишь окутанная дымом фигура в углу избы. Темная, сутулая. Зато он хорошо помнил беготню за махоркой на натруженных ногах.

Отец много курил. Каждый день перед выходом в поле он сосредоточенно скручивал папиросы и укладывал их в кожаный кисет, который затем привязывал к ремню. Махорку покупали в расположенном напротив костела магазине с баром, который держал болтливый пан Бельтер.

Несколько раз в месяц, возвращаясь из школы, Бронек заходил к пану Бельтеру, и тот давал ему небольшой мешочек. Отцовские деньги были точно отсчитаны. Бронек прятал махорку в портфель и проходил еще четыре километра, отделявшие его от дома.

После уроков он иногда впадал в задумчивость. Шел из Коло в Любины, каждый день смотря на одни и те же дома и деревья. Думал, сколько еще в мире домов и деревьев. Случалось, от рассеянности забывал зайти к пану Бельтеру. Отец обычно ждал его на лавке под старой, обомшелой сливой. Заходя во двор и увидев его фигуру – теперь уже темную и затуманившуюся, – Бронек вдруг вспоминал.

– Папа, пожалуйста, не злись... – начинал мальчик, но отец безмолвно вставал с лавки и направлялся к дому. Бронек шел за ним. Они заходили в сени, отец закрывал дверь и велел ему встать к стене.

– Штаны, – произносил он спокойно.

Неторопливо, мешкая, снимал со стены вожжи. Долго стоял у сына за спиной, проводя твердой кожей между пальцами. Щууух. Щууууух. Бил по ногам и попе. Бронек просил прощения, умолял. Он знал, что это ничего не даст. Пятнадцать ударов – никогда не больше, никогда не меньше. После пятнадцатого вожжи возвращались на стену, а Бронек подтягивал штаны и мчался к пану Бельтеру.

Иногда он вспоминал про махорку, завидев дом вдаль. Тогда он разворачивался на пятках и летел в магазин, а отец провожал его взглядом. Наказание наступало позже. Пятнадцать ударов – никогда не больше, никогда не меньше.

Когда отец умер, Бронеку было тринадцать. Он понимал, что должен помнить его лучше. В памяти должно было остаться нечто большее, чем просто темная фигура, скручивающая папиросы, и хлест вожжей по коже. Тем не менее, отец ассоциировался у Бронек Гельды только со злостью и беготней за чертовой махоркой.

Сам он ни разу не закурил. У него были другие привычки. Он страстно читал газеты, стругал узорчатые рогатки из дерева и боролся на руках. Благодаря последней, познакомился со своей будущей женой.

Обычно он мерился силами с лучшим другом школьных лет Фелеком Шпаком из соседней деревни Охле. Не очень умел проигрывать. Злился, вздыхал, требовал реванша. Тщательно вел реестр поединков.

Однажды, записывая результат очередной схватки, он впервые заметил крутившуюся на кухне Хелю, которая прежде как-то не привлекала его внимание. Невысокая, несмелая, неприметная и неразговорчивая, она словно опасалась быть хоть какой-нибудь. С того момента Бронек присматривался к ней все пристальнее. Некоторое время ему казалось, что, если сильно на нее подуть, она рассыплется на части.

Ему было тогда двадцать шесть, и уже лет пять он активно искал жену. Но пока все ограничивалось поисками.

– Думаешь, она бы захотела со мной?.. – спросил он Фелека Шпака в день, когда преимущество последнего сократилось до пяти побед, и кивнул в сторону Хели, загонявшей кур в деревянный сарай.

– Да ты чего... с Хелей флиртовать собрался? – удивился Фелек, массируя уставший локоть.

Бронек молчал и смотрел на девушку, которая как раз пыталась выкурить из кустов какую-то упрямую несущку. Полы ее передника развевались на ветру.

– А что? – спросил он наконец.

– Эх... Будь осторожнее, она немного чудная. Однажды уже влюбилась. Боже правый. Едва это пережила. Не знаю, может, и стоит попробовать.

– А что я должен...?

– Цветы принеси. Она вроде их любит.

– Цветы, – Бронек повторил это слово, будто слышал его впервые в жизни.

Брат Хели наклонил голову и выглянул в окно. Он рассказал Бронеку о том, как его сестра однажды чуть не сошла с ума. Все началось летом 1915 года. Хеле было шесть, она безумно любила цветы. Ходила по деревне, срывая все подряд, а потом засушивала, вязала букеты и плела венки. В соседний Брдув приехала тогда на каникулы таинственная Бася Халупец с черными звериными глазами. Взглянув в них, мужчины просто теряли голову. Как-то раз Хеля увидела ее в Коло. Девушка шла по улице с подругой, высокая, элегантная, не такая, как все. Она была из какой-то сказки, явно не отсюда.

Хеля сплела для нее венок из сушеных цветов и брала его с собой всякий раз, когда родители разрешали ей ехать вместе с ними в Коло. И вот однажды она столкнулась с Басей недалеко от костела и молча вручила ей венок. Девушка поблагодарила, улыбнулась, а потом, неспешно удаляясь, еще и помахала. Несколько недель Хеля говорила только о ней.

Вскоре Бася Халупец исчезла и появилась вновь лишь через несколько лет. Она ходила по городу, выпрямившись, осторожно, словно боялась, что может случайно к чему-нибудь приклеиться.

– Видно, что поехала по миру, – говорили о ней. Ходили слухи, что она большая звезда, снялась в кино.

К Хеле, интересовавшейся уже не только цветами, но и мальчиками, ходил тогда высокий юноша из деревни Хойны. Его звали Кшиштоф, он водил ее на прогулки. Они почти не разговаривали, просто ходили – от дороги до поля в конце деревни и обратно. Иногда он рвал для нее цветы. Фелек слышал, как во время вечерней молитвы его сестра шепчет Богу, что не знает наверняка, но, кажется, влюбилась.

Однажды Хеля отправилась с матерью в Коло, на рынок. Был конец июля, люди буквально плавались на солнце. Хеля мечтала искупаться в пруду или хотя бы облиться ведром холодной воды из колодца. На тонувшей в пыли улице Сенкевича увидела своего Кшися. Оживленный как никогда, он крутился вокруг Барбары Халупец, которая пыталась не обращать на него внимания. Парень громко смеялся и корчил рожи, как ошалевший. В какой-то момент он упал на колени перед черноглазой женщиной и во всю глотку стал орать, что любит ее, после чего та быстрым шагом удалилась. Хеля отвернулась, потянув мать за собой. Домой она пришла полуживая. Пробормотала, что у нее температура, и сразу зарылась в кровать. Глухая к мольбам отца, провела так несколько дней, пока наконец не дала себе два обещания. Во-первых, встать. Во-вторых, больше никогда не влюбляться. Сдержала только первое.

\* \* \*

Лучшим другом Бронек Гельды был пес. Его звали Конь. Он относился к тому типу глупых собак, глупость которых хочется приласкать. Конь лаял в самые неподходящие моменты,

бросался на телегу, месяцами стоявшую во дворе, и гонялся за невидимыми жертвами. Кличкой он был обязан характерным зубам, определенно слишком крупным для животного таких размеров. Любимым занятием Коня были нападения на овин. Всякий раз, когда Бронек, его мать или один из двоих братьев открывал широкие ворота, чтобы попасть внутрь, Конь внезапно оказывался рядом. Он влетал в овин, осматривался и хватал первую вещь, привлекающую его внимание. Так ему случалось утащить кусок тряпки, старое древко от молотка или даже усохшую лапку нутрии (с этих зверьков Геновефа Гельда снимала в сарае кожу). Но чаще всего объектом подобных краж становился какой-нибудь засохший кошачий помет. В один прекрасный летний день 1937 года Коню исключительно повезло. Его трофеем стал букет цветов, спрятанный за грудой бревен, а вечером, будто этого было мало, ему удалось украсть еще один, непредусмотрительно оставленный в том же месте. Бронек выскочил из сарая и гнался за Конем через двор и поле, когда же силы его были на исходе, начал кидать в собаку камнями, пока та не скрылась в кустах. Траекторию побега устилала лепестки маков.

Уберечь получилось лишь третью связку. В тот же вечер Бронек отправился к Шпакам и со смесью страха, стыда, сомнений, радости и гордости вручил букет Хеле. Девушка молча взяла его, поставила в воду и ушла с кухни, прежде чем он успел что-либо сказать.

После нескольких поединков с будущим шурином Бронек сел на ступеньки перед домом и принялся наблюдать, как Хеля несет из хлева ведра с молоком. Только сейчас он заметил, насколько она худая. Ноги как его предплечье. Бедрa мальчика-подростка. Грудь вообще не было. Лицо вытянутое, нос маленький и большие карие глаза. Вместо рта – полоска без губ. Длинные волосы, связанные в конский хвост, развевались и липли к шее и щекам.

– А ты, Хеля, слышала анекдот о двух мужиках, которые очень долго спорят? – завязал он разговор.

– По-моему, нет, – ответила она, ставя ведра у колодца.

– Спорят и спорят, и вдруг один говорит: «А у вас, говорят, все тело волосатое, как у обезьяны!» И знаешь, что на это отвечает второй?

– Нет.

– Ваша жена слишком много мелет языком!

Молчание, воцарившееся с последним предложением, вызвало у Бронька подозрение, что анекдот все же был не столь великолепен, как уверяла мать, когда несколько дней назад за столом делилась им с сыновьями.

– Довольно смешно, – заключила наконец Хеля и вернулась к работе.

В следующих беседах Бронек пробовал ее узнать и все больше убеждался, что это будет нелегко. Девушка вела себя любезно, отвечала на вопросы, бывала даже забавна, но никогда сама не начинала тему, и ему ни разу не показалось, что она заинтересована им больше, чем работой по хозяйству. Положение изменилось лишь на одном из танцевальных вечеров, которые Хеля обожала, а Бронек ненавидел.

\* \* \*

В семье Шпаков танцевали всегда. Польку, шибер, вальс. Танцевали вечером во дворе по поводам очень веселым и просто веселым, а порой и вовсе без повода. Бронек Гельда был противоположностью танца и, может быть, именно поэтому в тот вечер показался Хеле несколько невнятным.

Не считая вспышек злости и энтузиазма, случавшихся с ним во время борьбы на руках, он двигался скорее мало, да и то достаточно флегматично – зато могло показаться, что в его высоком теле постоянно что-то происходит.

День был ветреный, солнце пригревало. Бронек не знал, что надеть, и в итоге нарядился, как для фотосъемки. Ботинки, в которых ходил в костел по очереди с тремя братьями,

пиджак с широкими лацканами, галстук в разноцветные полосы и белая рубашка, пропотевшая через пятнадцать минут после выхода из дома. Сбрил рассыпанные по подбородку зернышки щетины, а слегка оттопыренные уши затушевал, зачесав волосы набок. У него было гладкое треугольное лицо. Широко расставленные глаза и острый подбородок. Маленький нос. Маленький рот. Он последний раз взглянул в зеркало и спешно вышел из дома.

Во двор Шпаков он вошел, притворяясь уверенным в себе. Большинство гостей уже танцевало. Одни пары скакали по двору, другие разговаривали перед домом, кто-то писал в кустах, а кто-то пытался петь. Ни один мужчина не пришел в костюме.

Фелек Шпак прислонился к стене, а его голову окутало облако сигаретного дыма.

– Ну ты, Бронек, и кулема...

– Что?! – Лицо покраснело, руки в карманы, зубы стиснуты, скрежет, развернуться, убежать домой и никогда больше у них не появляться. Но все-таки вдох, выдох, раз, два, спокойно. – Что?

– Галстук?..

– А чего, запрещено?

– Да нет.

– Тогда какого дьявола болтаешь?

– Вырядился, как на Пасху.

– Иди к черту! – проворчал Бронек и подошел ближе. Фелек отступил на шаг.

– Вечно ты, Бронек, дуешься. Хороших манер – кот наплакал, а на мою сестру глаз положил... – Он улыбнулся, зажмурился и глубоко затянулся. Кивнул на танцующих. – Жду-не дождусь, как вы с Хелей покажете класс.

За весь вечер Бронек не станцевал ни разу. Пошутил немного с Хелей, немного с ее отцом и периодически отказывал расхристанным соседкам, бурча что-то про больное колено. В конце вечера, когда часть пар уже разошлась по домам, присел рядом с Хелей на лавку под деревом и проговорил:

– Хеля, а ты бы не хотела, может, за меня выйти?

Девушка посмотрела на него задумчиво, будто он спросил, не хочет ли она яблоко.

– Даже не знаю.

– Если не согласишься, Фелек будет смеяться надо мной всю жизнь.

– Ага, так бы сразу и сказал.

Они поженились в 1938 году. Хеля, которую все родственники уже успели записать в старые девы, получила в приданое пуховое одеяло и корову. У алтаря Бронек едва не упал в обморок от волнения. Костел плыл перед глазами, в легких пылало, но он яростно щипал себя за ноги и как-то выстоял. Поселились с матерью Бронька и двумя его братьями в доме, в котором всегда пахло огородом.

Геновефа Гельда держала в Коло овощной ларек. После смерти мужа, которого в возрасте тридцати семи лет погубили гнившие в теле кишки, ее жизнь превратилась в ожесточенную борьбу за выживание. С тех пор как умер отец, Бронек и его братья каждый вечер усаживались за длинный стол у кухонного окна и собирали свежесобранную зелень в пучки. Никто из них этого не любил, и никто никогда не посмел сказать об этом матери.

После свадьбы Хеля бросилась помогать им с такой страстью, какой у нее никто прежде не подозревал. Со временем она брала на себя все больше дел свекрови. У Бронька складывалось впечатление, что его жена становится все больше похожа на мать, даже внешне, словно вхождение в жизнь утомленной Геновефы означало для Хели превращение в нее.

Меньше, чем через год после свадьбы Бронек влюбился. Объектом его воздыханий стала страна. Искрой, с которой все началось, были призывы поддержать Фонд национальной обороны: их публиковали в «Кольской газете» и звучали они все более решительно. Бронек носил с собой вырезку из номера от 16 апреля и регулярно перечитывал подчеркнутые пером слова:

«Патриотический порыв – прекрасная вещь, но лишь пожертвование из наших кошельков выявит степень зрелости нашего патриотизма. Сумма кредита покажет, сдали ли мы второй экзамен на любовь к родине».

Бронек решил сдать экзамен на пять, поэтому передал фонду все сбережения, а потом одолжил везде, где мог, и полученные таким образом средства тоже пожертвовал.

– Горе тому, кто отдал родине крохи, а себе оставил набитый мешок, – все время повторял он матери, жене, братьям и друзьям.

Хелена наблюдала за этим с невозмутимым спокойствием, обнаруживая в себе еще больший запал для работы. Она спала по три часа в сутки и ежедневно проходила пешком десятков километров до города и обратно. Бронек, у которого часто болело сердце, преодолевал это расстояние на велосипеде.

Торговля процветала. Благодаря тому, что Хеле удалось спрятать часть выручки от мужа, обезумевшего от любви, семья смогла наконец перебраться в Коло. Они поселились на Торуньской улице, прямо над ларьком. Доходы росли постепенно и систематически, но настоящее благосостояние наступило через несколько месяцев после того, как в Пёлуново, расположенном в шестидесяти километрах от них, Янек Лабендович смастерил войну.

\* \* \*

Немцы вошли в город в понедельник 18 сентября, в полдень. Неделей раньше жителям удалось взорвать мост через Варту. Он сложился, будто картонный. Неповрежденные бетонные плиты криво держались на массивных опорах. Река терпеливо собирала разбросанные по дну обломки.

После прихода немцев на Рыночной площади вывесили транспарант с надписью: «Dieses Land bleibt für immer deutsch»<sup>11</sup>, а в приходском костеле и в монастыре часами звонили колокола. Больница совершенно опустела. Уже вскоре, по горло насытившись ежедневным мытьем моркови и сельдерея, оба брата Бронек включились в деятельность местного отделения Союза вооруженной борьбы, и у них весьма неплохо получалось, до тех пор пока младший болтливый Адам не переспал с подставной сотрудницей гестапо. Чуть погодя братьев посадили в тюрьму в Иновроцлаве и в конце концов 17 апреля 1943 года расстреляли по приговору Национального высшего суда.

Адам умер с оборванным воплем: «Чтоб вы провалились, черти прокля...!», а Юзеф со словами: «Господи, прости».

Хеля за несколько дней выучила немецкие названия фруктов и овощей, а также основные выражения, которые помнила до самой смерти. В девяносто пять лет она не сможет вспомнить, как ее зовут и обедала ли она, но не забудет, что капуста – это *der Kohl*.

Кроме того, они с Бронек научились убегать в подвал при звуке приближающихся самолетов и овладели трудным искусством переговоров с людьми, вооруженными пистолетами. Последнее пригодились преимущественно при торговле из-под полы самогоном, который Хеля гнала по ночам в сарае для хранения угля.

В 1942 году место ларька занял магазин «Зеленщик» с красивой вывеской и узким жестяным козырьком. В тот же год в семье появилась дочка Эмилия, и Бронек обезумел от любви второй раз. Увидев мягкое розовое тельце, которому он сам подарил жизнь, Бронек пожалел о деньгах, пожертвованных Фонду национальной обороны, и решил, что теперь будет любить только этого маленького человека.

---

<sup>11</sup> «Эта земля навсегда останется немецкой». (нем.)

\* \* \*

Эмилька Гельда болела в детстве всем, чем только можно. Вырвавшись из когтей ангины, заболела краснухой, а когда ей наконец удавалось одержать над ней победу, подхватывала бронхит, и так далее.

В ноябре 1943 года умерла во сне мать Бронька, которая в конце жизни была уверена, что ей десять лет и зовут ее Коко. После смерти бабушки Эмилией начали заниматься дальние родственницы Хелены, сестры Пызяк. Их было пять, одна шумнее другой. Никто из них не вышел замуж.

Хеля приводила к ним Милу утром и забирала ее вечером, после закрытия «Зеленщика», находившегося напротив. Сестры Пызяк жили в лабиринте. Обе комнаты их квартиры густо переплетали веревки, с которых свисали бледные полотнища простыней и наволочек. От сырости щекотало в носу. В центре лабиринта гордо раскорячился шаткий стол. Старшая сестра, Сташка, каждый день подзывала к нему Милку и торжественно выдвигала из-под столешницы ящик. Она всегда доставала оттуда одну конфету и с улыбкой клала ее перед девочкой. Когда малышка резво принималась есть, Сташка вставала и исчезала в море простыней.

Остальные сестры не обращали на Милку особого внимания. Они были поглощены работой, заключавшейся в стирке и накрахмаливании, а также утаивании этих действий от немцев. Младшая сестра, сорокалетняя Дуся, каждую ночь взваливала на плечи жесткий мешок с постельным бельем и с колотящимся сердцем бежала три километра до монастыря, преодолевая по пути рухнувший мост, на котором в темноте нужно было перепрыгивать с одной бетонной глыбы на другую. Однажды она призналась Хелене, что на случай, если ее поймают и захотят причинить вред, она всегда носит с собой найденную в траве гранату.

– Рука у меня не дрогнет, – прошептала она за чаем. – Если разорву нескольких на куски, принесу хоть какую-то пользу.

Сестры Пызяк были не только шумные, но и сварливые. Старые девы обыкновенно начинали день со скандала. Препирались они и во время работы. Самые важные заявления, претензии и обещания звучали в ходе ссор, тогда же сестры делились главными сплетнями и новостями. Все они умерли в этом доме на Торуньской улице.

\* \* \*

Конь долго привыкал к городу, но в итоге все же сдался и перестал гадить на пол. Каждое утро Бронек выводил его во двор и рассказывал о преимуществах городской жизни. Как-то раз, возвращаясь с прогулки, столкнулся в дверях со смуглолицей девушкой.

У нее были полные, слегка потрескавшиеся губы и большие глаза с темными зрачками. Из-под красного платка, повязанного на голове, торчала блестящая черная коса. Рубаха с широкими рукавами как от старшего брата. Девушка стояла неподвижно и смотрела на Бронька так, будто они знали друг друга много лет.

– Простите, – сказал он, чуть поклонившись.

– Я погадаю вам по руке.

– Не надо, спасибо.

– Вам не интересно ваше будущее?

– Нет, – ответил он. – Спасибо.

– У меня никакого *хохаймос*, никакого обмана.

– Не хочу я гаданий, сказал же.

– Будущего не хочешь знать?

– Не хочу! – рявкнул он. – Плевать мне на будущее.

– А что с ребенком беда случится, тоже знать не хочешь?

– Да чтоб тебя перекосило! – воскликнул он, взяв Коня на руки и торопливо обходя цыганку.

Поднимаясь по лестнице, он услышал:

– Ад поглотит этого ребенка и выплюнет, как тряпку!

Он повернулся, чтобы прогнать ее, но та уже исчезла.

\* \* \*

Шестилетняя Эмилия Гельда наконец перестала хворать. Все недомогания как рукой сняло, хотя некоторые утверждали, что годы борьбы с собственным организмом отпечатались на лице девочки едва заметным выражением смирения и усталости. Ее любимым занятием было лазить по деревьям – она забиралась так высоко, как только возможно. Быстро сообразила, что с высоты пятнадцати метров можно выпросить у родителей намного больше, чем с земли. И еще с малых лет любила танцевать.

Каждые пару недель Хелена выкраивала время, чтобы вечером пойти к соседям на танцы и жмурки. Она брала с собой Милу, поскольку Бронек в это время обычно гулял с Конем или отдыхал. Когда раздавалось пение, девочка выбегала в центр комнаты и закрывала глаза, а ее лицо покрывалось румянцем. Она кружилась, поднимая руки над головой, металась, выгибалась и скакала, будто хотела поломать свое шуплое тело в нескольких местах сразу. Потом, уже дома, долго не могла уснуть. Прислушивалась к хриплому дыханию отца и тихим монологам молившейся матери.

Высокая арендная плата вскоре вынудила семью сменить квартиру на меньшую, но даже это не помогло выплатить постоянно растущие долги. Бронек портил очередную мебель, которую знакомый судебный исполнитель забирал и выставлял на аукцион на Рыночной площади, а Фелек Шпак моментально покупал ее по заниженной цене и привозил обратно. Тогда они с шурином закрашивали царапины на шкафах, сколачивали поломанные стулья и приделывали ноги к буфету, а потом снова приходил судебный исполнитель, и все начиналось сначала.

Под конец года один из постоянных клиентов «Зеленщика» устроил Бронек на работу во Всеобщий потребительский кооператив. Этого человека Бронек готов был носить на руках. На работе его быстро полюбили. Он был честный и никогда никуда не вмешивался. Делал то, что входило в его обязанности, и уходил домой.

С того момента заботы о магазине главным образом легли на плечи Хелены, которой казалось, что клиентов все меньше, а работы – больше. Нередко, согнувшись под тяжестью ящиков с овощами, она чувствовала: еще немного, и позвоночник откажет. Тогда она откладывала ношу, выпрямлялась и тут же возвращалась к работе.

Тем временем у Бронек начались проблемы со здоровьем. Участились сердечные боли. Несколько раз в месяц он бился на кровати в спазмах с криками, что умирает и что совсем этого не заслужил. Мила, научившаяся одеваться на бегу, мчалась за врачом. Его визит, как правило, завершался уколом и распитием нескольких рюмок самогона. Однажды доктор Когуц, подкрепленный напитком производства Хелены, наконец поставил диагноз:

– Это нервы.

Когда стало ясно, что от него все же ждут чего-то большего, он почесал лысеющую голову и заявил:

– Рекомендую поехать в какую-нибудь здравницу. Небольшой отдых от магазина и работы должен вам помочь.

В отсутствие альтернатив Хелена поддержала эту идею, и уже вскорости Бронек поехал в Иновроцлав. В Радзеюве, где надо было пересесть на другой автобус, он изменил жене с рыжеволосой женщиной по имени Ирена.

## Глава третья

После возвращения из Германии родители Янека Лабендовича все меньше напоминали самих себя до войны. Сабина, прежде постоянно переживавшая обо всем и обо всех, теперь, казалось, успокоилась и примирилась с судьбой. Будто видела будущее или по крайней мере понимала, чего от него ожидать.

А Вавжинец как будто вернулся в Польшу лишь частично. На первый взгляд, в его внешности ничего не изменилось: статный зеленоглазый блондин с кривым носом и длинными руками. Однако этот любимец соседей, в свое время мучивший людей веселыми историями, превратился в возбужденного, вечно взвинченного холерика. Он перестал улыбаться, а говоря с кем-нибудь, отводил взгляд в сторону. Дом словно обжигал его. В основном он работал в поле, ухаживал за животными или чинил что-нибудь во дворе. Если дел не оставалось, ехал на лошади в Квильно. Там жили братья Грабовские, с которыми он познакомился в Германии. Они были близнецами, ни один еще не женился. Вавжинец помогал им по хозяйству или усаживался на трухлявую лавку за коровником в компании их больной матери и рассказывал ей обо всем, о чем не хотел говорить с другими.

Мало что в жизни приносило ему такую радость, как те неторопливые вечера в Квильно, когда, прислонившись к прохладной стене коровника, он мог ненадолго снова стать собой прежним.

\* \* \*

Для Янека Лабендовича немного могло сравниться с сигаретами – отчасти, вероятно, потому, что курил он тайком. Уже несколько лет он встречал каждый новый день резким, удущающим кашлем, что через некоторое время стало все сильнее раздражать Ирену.

Она попросила, чтобы он перестал курить, а он, не зная, как иначе отреагировать, перестал. Продержался один день. С той поры, то есть четыре месяца, он это скрывал.

Солнце уходило с неба, оставляя за собой над полями ржавое темнеющее пятно. На заборе сохли кастрюли. Янек прислонился к стене овина и наблюдал за сизыми, постепенно таявшими струйками дыма. В животе бурчал только что съеденный ужин. Затягиваясь острогорьким дымом, он услышал где-то справа шелест, слишком громкий для kota или курицы.

Спрятал сигарету за спину и ждал. Через мгновение из полумрака вынырнула фигура его сына. Виктусь шел на полусогнутых ногах, вперившись в старое и сухое вишневое дерево, закрученные ветви которого уже давно не давали плодов. Он широко расставил руки, голову вдавил в плечи. Крался, скользя ягодицами по траве. Вдруг остановился как вкопанный и бросился бежать в сторону двора.

Вскоре хлопнула входная дверь дома.

\* \* \*

Каждый вечер стоящий за овином вишневый дракон поджигал солнце, медленно сползающее с неба. В углу двора заржавелый зубач принимался грызть землю стальными клыками. Оживала висящая в овине змея: она обвивала стропила и пожирала бегавших в сене мышей. На чердаке дома карлики танцевали друг с другом в тишине, шаркая маленькими ножками. В колодце просыпался хохочущий гном, который днем от скуки лишь подражал чужим голосам. По полям бегали черные чудовища без голов, зато с сотнями пальцев. За деревьями прятались

тощие создания, их языки шелестели по сухим нёбам. Безмолвный и очень высокий старец дырявил небо серебряной булавкой.

Виктусь любил ночь так, как любят ходить по скользкой крыше или садиться на норовистую лошадь. Родители разрешали ему недолго гулять около дома, и он медленно прокрадывался между строениями, изучая все, что днем пребывало в ожидании, как и он сам. Расстояние от порога дома до курятника ночью было в два раза больше, чем днем. Все было в два раза дальше. Трава сильнее пахла. Все пахло сильнее.

Самое главное, что ночью исчезали цвета. Дракон, зубач, змея и многопалые страшилища, даже безмолвный старец с булавкой – все они были бесцветны.

В один вечер явились совсем другие чудовища. Они пришли ночью, пьяные. Их крики было слышно издалека. Вошли без стука, расселись за столом. Некоторые стояли. Самый старший напоминал Паливоду, он облокотился о буфет. Наконец, один из них откашлялся.

– Где он? – спросил, в то время как остальные кивали головами, будто надеясь таким образом приободрить нарушившего молчание. – Мы все равно найдем его, Янек.

– Только попробуйте, сволочи – глазенки повыкориваю, клянусь. – Ирена стояла у печи с кочергой в одной руке и деревянной ложкой в другой.

– Это змей, – откликнулся другой мужик с большим красным носом. – А змея надо...

– Змея в овине, – сказал Виктусь, выходя из сеней. – Она ест там мышей. Висит у стены, только нельзя к ней прикасаться.

Говоривший первым схватил мальчика под мышку и выбежал во двор, остальные за ним. Ирена догнала одного и огрела кочергой по спине. Тот завыл и упал на траву, но тут же встал и с размаху ударил ее по лицу так, что она повернулась вокруг своей оси. Янек выскочил из дома, крича и размахивая топором. Налетел на соседей, замахнулся на кого-то, но не попал. С криками снова бросился в атаку, но потерял равновесие, и его поймали, а один из них все время тихо повторял:

– Ты знаешь, что так надо, Янек, знаешь же, так надо.

Их закрыли в курятнике, дверь подперли вилами.

\* \* \*

Дядя Паливода наклонился к Виктусю и погладил его по коротко стриженной голове. У него было темное лицо, он насквозь провонял водкой.

– Закрой глаза, сынок. Ненадолго.

Виктусь сделал, как ему велели. Он сжимал веки, слыша вдалеке рев отца и глухие ритмичные удары. Больше никаких звуков.

– Дальше, – шепнул вдруг кто-то слева.

– На, возьми, – сказал другой.

Первый громко вздохнул, потом воцарилась тишина. Виктусь открыл глаза в ту секунду, когда черное находилось прямо перед ним.

Он почувствовал вспышку на лбу и огонь, вгрызающийся глубоко в голову. Прежде чем мальчик упал на спину – медленно, одна нога за другой, – воздух облепил его, как высыхающее болото. Грохот прекратился, голос отца стал отдаленным гулом. Виктусь ощутил тепло мочи на ляжке. Что-то полыхнуло перед глазами.

Он танцует. Говорит с шаром из лохмотьев, бросает камень в небо, танцует, за руку ведет покалеченного отца по полю и поглядывает на луну, пожираемую размытым, кружится с девушкой во дворе, знакомом и незнакомом, танцует, а потом сползает с нее, вспотевший, счастливый, и танцует, хотя мир уже не такой, как раньше, он за стеклом, за двумя, пятью, двадцатью стеклами, он больше не видит мир, но продолжает танцевать, а потом смотрит на животное, бьющееся в конвульсиях...

Лоб.

Лоб горит. Виктусь шатается, одна нога, вторая, болото мельчает и отпускает его, дает упасть на землю, а земля мягкая, и в ней слышится рев отца.

\* \* \*

Янек всем телом бился о доски, которые сам сколачивал, и знал, что они не поддадутся, но продолжал колотить и орал, что поубивает, клянется, что поубивает всех.

Смеркалось, и вишневый дракон, как всегда, поджег небо над полями. Зубач в тишине грыз землю и отвернулся, не хотел видеть, что чудовища делают с Виктусем в поле.

Ирена выла. Казю стоял на пороге и плакал.

– Сынок! – кричал Ян. – Открой, сынок, открой курятник, Казю!

Казю боролся с вилами, а отец умолял его делать это быстрее и с силой. Наконец оказавшись снаружи, он спросил, оглядываясь по сторонам:

– Куда они пошли? Сынок, говори же, куда пошли!

Казю отступил и указал рукой на поле. Янек побежал, но сразу вернулся и поднял из травы топор. Ирена неслась за ним. В поле виднелись фигуры убежавших чудовищ. Вдоль борозды полз Виктусь, его лицо было залито темной кровью.

Ирена упала перед ним на колени, осторожно ощупала голову и все тело, потом обняла, размазывая его кровь по своей щеке.

– Не бойся. Мы зашьем это, не бойся.

Ян отнес сына домой, где ему промыли рану и приложили к ней хвощ. Ирена аккуратно обмотала голову мальчика платком.

– До свадьбы заживет. – Она улыбнулась и взглянула на Янека, который все еще сжимал в руке топор.

В ту ночь он не спал. Сидел за столом и смотрел на лежавшую перед ним Библию. Под утро издали донесся звук грома. Затем хлынул дождь. Ян стоял на пороге и долго всматривался в капли, высоко отскакивавшие от утоптанной земли, затем зашел в дом и бросил Священное Писание в печь. Обложка сморщилась и начала уменьшаться, а пламя постепенно продиралось через книги и Евангелие.

На следующий день на полях еще долго стояли блестящие лужи. До заката ни один человек не прошел мимо дома Лабендовичей.

– Можно выйти? – спросил Виктусь перед наступлением темноты, подняв забинтованную голову и смотря на отца.

– Выйдем вместе.

Они обошли двор, заглянули за овин и в колодец. Виктусь направился к дому.

– Уже посмотрелся?

– Их здесь больше нет, – ответил мальчик.

Вместо дракона стоял высохший куст, а на том месте, где раньше зубач грыз землю, торчала ржавая борона. Змея стала канатом, как и днем. В колодце гудело глупое эхо.

Они вошли в дом. Виктусь сел за стол и сказал:

– Я, кажется, умер.

Наутро Ян пошел к Паливоде. Старик стоял у дома и смотрел на дорогу так, будто два дня ничего не делал и только ждал его. Ян повалил его лишь третьим ударом: Паливода упал на спину и побагровел. Хрипел, словно дышал гвоздями.

Не обращая внимания на крики Мирки Паливоды, которая дергала его за рукав и пыталась затащить в дом, Ян обвел двор глазами и поднял с земли точило для косы.

Вернулся к старику. Встал перед ним на колени. Занес точило над головой. Мирка бросилась на него, он ее оттолкнул. Паливода закрыл глаза.

Ян бросил точило в крапиву и опустил голову на грудь соседа. Плакал и бил кулаками по земле. Потом встал и вернулся домой. До самой своей смерти он не сказал Паливоде ни единого слова.

\* \* \*

Через несколько дней после визита соседей он смастерил второе радио. Принес его на кухню, и вся семья села за стол. Послушали песню, потом еще одну. Кто-то прочитал фрагмент книги.

– Должно быть, я сделал что-то не так, – заявил Ян и несколько вечеров подряд просидел в овине над трещающим и шумевшим устройством. В итоге отнес его на чердак. – Не получается, – сказал Ирене, когда они ложились спать.

– Справимся и без войны, – заметила она сквозь сон.

Ян сомкнул веки и прошептал:

– Если б у меня было доказательство, что Бога нет, я бы воровал.

– Мгм, хмм...

– Воровал бы, черт подери. Только бы удрать отсюда. Вон тетка моя Сальча, живет в Америке, и денег у нее, говорят, куры не клюют. Где угодно могла бы жить. Была б у нас хоть половина ее состояния... Сбежали бы все вместе, чем дальше, тем лучше, а потом я бы нашел *Фрау* Эберль и извинился – может, тогда она оставила бы меня в покое.

В сентябре Ян скошил пшеницу – урожай оказался чуть лучше, чем в прошлом году. С картошкой было похоже. Яблоч уродилось как никогда много.

Обе сестры Яна в тот год вышли замуж: Анеля за рослого рыжего парня из Скибина, а Ванда за часового мастера, который жил с матерью в Радзеюве и, судя по всему, не имел ничего против кривых носов. Свадьбы играли в овине у Лабендовичей. На обеих Вавжинец то и дело выходил на улицу, чтобы проплакаться за сараем. Он смотрел на раскинувшиеся кругом поля и по-прежнему удивлялся, что все это существует.

Жители Пёлуново стали чаще ездить на телегах в город. Мужчины проходили иногда мимо дома Лабендовичей, молча кланяясь Яну. Каждый раз ему хотелось броситься на них и перегрызть горло.

Последующие годы приносили все большие урожаи. Ирена раз в неделю ездила в город на рынок, всегда привозила свежую шуршащую газету и погружалась в нее на долгие часы.

Казю пошел в школу. Он схватывал знания на лету. Когда ему хотелось, он был лучшим в классе, но обычно не хотелось. Дочь старухи Серватковой, два года работавшая учительницей, сообщила Яну, что его сын – очень способный лентяй. Виктусь стал неразговорчивым и предпочитал проводить время с кошками. Каждое лето у него на коже выскакивали красные волдыри, от которых оставались шрамы. Сыновья помогали отцу строить коровник. Таскали по земле длинные доски и ведра, наполненные глиной, а потом садились на траву и смотрели на стены, уходящие в небо. Вскоре у Лабендовичей было уже две коровы.

Яну каждую ночь снилась *Фрау* Эберль, вопящая на него с телеги, а по утрам он кашлял так, словно собирался выплюнуть легкие. Иногда он полуголый выходил во двор и рвал мокрую от росы траву, молясь, чтобы приступ прошел. Как-то раз, наконец придя в себя, увидел перед собой маленькую сову. Она смотрела на него изучающе, переступая с лапы на лапу. За ней тащилось поврежденное крыло.

Ян принес птицу в дом и показал мальчикам. Ирена обернула крыло тонкой тряпкой, а Казю сделал гнездо из сена, – так сова поселилась на чердаке. Вечером братья прислушивались к доносившимся сверху звукам и выдумывали самые фантастические истории, связанные с ними. Утром состязались, кто первый заглянет на чердак и с волнением в голосе сообщит:

– Перешла в другой угол!

- Ее не видно!
- Идет!
- Вроде ей уже лучше!

Почти ежедневно они ходили к пруду и ловили лягушек, которых Ирена потом резала на кусочки. Новая квартирантка всегда съедала их в одиночестве.

В ходе трехнедельного выздоровления сова убила у Лабендовичей в общей сложности одиннадцать мышей, семь из которых съела, а четырех оставила на пороге. Когда наконец Ян развернул крыло и поставил птицу на траву, она смерила его оскорбленным взглядом и взмыла в воздух. Мальчики побежали за ней, уверенные, что сова сейчас приземлится, каким-то особым образом поблагодарит их за заботу. Через час вернулись домой. Виктусь был взбешен, у Казя в глазах стояли слезы.

На следующий день Ирена в утешение взяла их с собой на рынок. Поехали на автобусе. Им быстро наскучило ходить между прилавками с овощами, и стало ясно, что в Радзеюв их привела не внезапная любовь к переполненным торговым рядам, а шанс навестить тетю Ванду, у которой всегда были песочные пирожные с сахаром. Оставив обрадованных сыновей у золовки, Ирена решила вернуться на рынок. Шла в задумчивости, отрешенная.

Велосипед, крик, удар в плечо.

Ирена Лабендович оторвалась от земли, потеряв при этом одну туфлю. Шум города превратился в приглушенный, протяжный рокот, а перед глазами вспыхнуло белое солнце.

Она летит. Она устала. Устала от Янека, Казя, который не хочет учиться, и Виктора, которого не понимает, а прежде всего она устала от себя, Ирены Лабендович, но летит дальше, прижимает белую голову сына к груди и чувствует, как его слезы выжигают на ее теле следы, которые уже не исчезнут, летит, поддерживая мужа, которого надо поддерживать, и размышляет о том, что случилось тогда, давно, сейчас, у вокзала, у автовокзала, отзывающегося грохотом.

Ирена ударилась головой о тротуар, кожа на разодранных ногах запылала.

- Господи, надеюсь, вы не умерли, – произнес голос, который она только что услышала.
- Я тоже на это надеюсь, – простонала Ирена.

К ней наклонился мужчина, пожалуй, старше ее, элегантный, в костюме и шляпе, мужчина неторопливый и в то же время взволнованный, такой, что хотелось крепко его обнять и встретить вместе конец света.

Он помог ей встать, они сели на заборчик.

– Вот зараза, смылся, не успел его поймать, – сообщил он, показывая головой на помятые кусты.

- Да, да... Неважно...
- У вас что-то болит? Переломов вроде нет.
- Нет. Вроде нет...

Некоторое время они молчали. Мужчина изучал ободранное колено Ирены, Ирена изучала мужчину.

– Я не местный, – сказал он, приглаживая волосы. – Просто жду автобуса, чтобы ехать дальше. В санаторий. Меня зовут Бронек.

- Очень приятно.
- Я живу в Коло, у меня там овощной магазин. Называется «Зеленщик»...
- Пан Бронек, пройдитесь со мной немного... Здесь недалеко луг, за кладбищем. Голова болит от этого шума.

Когда они оказались за кладбищем, она уложила его на траву и стянула с него брюки, а он повторял, что не может, что не надо этого делать, а она просила его молчать. Села на него и прижала лоб к его лбу: он ощутил молочный запах ее кожи, совсем не такой, как у Хели, которая в тот момент перестала существовать, ее не было на земле, она не дышала, не жила, была лишь пустота, и в этой пустоте, оставшейся от Хели, он и эта женщина, которая не

представилась и двигалась над ним, а потом прикусила кончик рыжей косы, обмякла, слезла с него и встала, тепло улыбаясь.

– Я очень рада, что все-таки не умерла, – сказала она, приглаживая юбку. – Но мне уже пора.

– Да... – просопел он, пытаясь как-то прийти в себя, влезть в одежду, и извивался, поворачивался, кряхтел, пока наконец не встал, застегнул брюки, пригладил волосы, однако женщины уже не было.

\* \* \*

Сова вернулась через неделю.

Они слышали ночью, как она ухала где-то в темноте. Это больше напоминало писк, нежели крик. С тех пор Лабендовичи время от времени обнаруживали на пороге дома доказательства ее симпатии в виде мертвых мышей, лягушек, а порой и маленьких крыс.

Сова оказалась существом компанейским. Когда кто-нибудь из членов семьи уходил из дома, она возникала над его головой и гордо парила на фоне неба. Каждое утро она таким образом провожала Казя в школу. Мальчик боялся, что если другие дети увидят птицу, то захотят ее украсть. Подходя к зданию школы, он пытался отправить сову домой. Как правило, кидал в нее камни.

– Глупышка! Лети домой!

Иногда он ворчал на нее, подражая какому-нибудь дикому зверю, но поскольку никакого дикого зверя в жизни не видел (бешеная собака у костела не в счет, ибо та молчала), получалось не слишком убедительно. Он собирал камни и пулял ими в небо. В итоге сова разворачивалась и, торжественно размахивая крыльями, направлялась в сторону хозяйства Лабендовичей.

Однажды вечером она влетела в окно и села на напольные часы, которые Ян на спине приволок от родителей. Окинула взором избу и осталась на них сидеть. Каждое утро Ирена открывала окна с целью проветрить одеяла, тогда Глупышка вылетала на улицу, дабы совершить несколько широких кругов над двором и затем присесть на столбик лестницы, ведущей на чердак. Она могла неподвижно просидеть там целый день и лишь изредка поднималась в воздух, после чего в косом полете бросалась к земле, чтобы ударом клюва прервать жизнь мыши или крысы, проشمывающей под прикрытием сарая.

У Глупышки было два заклятых врага. Первый – метла. Всякий раз, когда Ирена начинала убираться, ее рабочий инструмент становился жертвой атаки совиного клюва. Сидя на часах с таким видом, будто весь мир уже давно ей наскучил, птица не теряла бдительности, и если требовалось подмести полы, следовало сначала выгнать ее из дома, на что она реагировала громким верещанием.

Второй вещью, которую Глупышка искренне и страстно ненавидела, были взлохмаченные волосы. Если в поле ее острого зрения по неосторожности появлялся кто-то, кто не воспользовался расческой и не накрыл растрепанную голову, на него с неба налетали карающие когти. Из-за ненависти к шевелюрам отношения между совой и соседями Лабендовичей становились все напряженнее. Спустя некоторое время жители Пёлуново все же привыкли к новым требованиям и перед выходом из дома приводили волосы в порядок.

\* \* \*

В школе Казю постепенно занял положение между угнетателем и жертвой: он, конечно, не мог рассчитывать на роль предводителя одной из небольших банд, но хотя бы не огребал на переменах, как некоторые.

Ситуация Виктуса была иной. Когда он впервые появился в школе, оказалось, что можно быть хуже, чем просто жертвой. Его унижали все: от самых отвязных безобразников до полнейших растяп, вымещавших на нем копившуюся годами фрустрацию. Его забрасывали самыми дерзкими оскорблениями и самыми большими коровьими лепешками, какие только можно было надежно спрятать в ранце. Иногда кто-нибудь подходил к нему на перемене и расковыривал ногтями солнечные ожоги, заживавшие на его предплечьях.

Как-то раз, получив солидную порцию унижений и тумачков, Виктор возвращался домой, на полпути спустился в канаву и расплакался, осторожно касаясь пораненной кожи. Белый воротничок школьной формы испачкался в земле. Упираясь ногами в толстый сук, мальчик стал возить в болотистой грязи палкой.

Он размышлял, как долго мог бы здесь остаться. Деревья отбрасывали в канаву широкие тени, а густые кусты защищали от взглядов прохожих. Было темно, прохладно и удобно. Может, получилось бы просидеть так целую ночь? Или даже неделю?

Треск, шорох. В трубе, проходившей под дорогой, что-то зашевелилось. Не успев встать, Виктусь увидел шар из лохмотьев и волос, который бросился к нему, но упал прямо в воду. Мальчик выбежал на дорогу и встал над канавой, наблюдая за нападавшим. От темного корпуса отделились руки. В густой щетине блеснули белые глаза.

– Не делать вред, – попросило существо. – Не делать вред, пожалуйста.

Виктусь помчался домой.

\* \* \*

– Ну и отметилили тебя сегодня, – завел разговор Казю, когда они вечером загоняли кур в курятник.

– А ты что, видел?

– Немного. Но издалека. Так бы подошел.

– Самый ужасный этот Былик.

– Угу.

– Казю, почему они все время меня лупят?

– Не знаю. Дураки потому что.

– Но почему именно меня?

– Говорю же тебе, дураки и все. Потом перестанут. Ну давай, вперед! – и замахнулся ногой на медлительную курицу.

– Это, наверно, приятно, да?

– Что?

– Отколошматить кого-нибудь.

– Да не знаю.

– Ты ведь говорил, что побил одного, Анджея этого. Значит, должен знать.

– Ну довольно приятно. Немного.

– Ага.

Они закрыли курятник и зачерпнули воды из колодца. Она была холодная, морозила горло и живот. Солнце уже дало деру за крышу сарая, Глупышка несла караул на своем столбике, а кот, лежавший неподалеку в траве, бил по земле рыжим хвостом.

– Казю, а если б тебе заплатили за то, чтобы ты задушил кота, сколько бы ты хотел?

– А мне откуда знать. И зачем?

– Да просто так.

– Не знаю. Наверно, чтобы хватило на велосипед. И на конфеты.

– И тогда бы задушил?

– Ну да. Но конфет целый мешок.

- И не переживал бы, что задушил?
- Не знаю. Наверно, немного переживал бы.
- Но когда мы убиваем лягушек для Глупышки, то не переживаем.
- Потому что это лягушки. Они маленькие. И глупые.
- Но если взять много, очень много лягушек, они будут такие же, как кот. А мы убили уже много, очень много лягушек. Все равно что кота.
- Но кот – это другое.
- То есть кота нельзя?
- Нет.
- А если б можно было?
- Но нельзя!
- А если б можно?
- Тогда что?
- Задушил бы бесплатно?
- Да зачем мне бесплатно душить кота?
- Чтобы почувствовать, как это.
- Но зачем?
- Может, это здорово?
- Ну и дурак ты!

С момента встречи в канаве Виктусь каждый день по дороге из школы спускался к темному, прохладному укрытию в кустах и оставлял у края вонючей трубы кусок хлеба со смальцем, спрятанный в ранце именно с этой целью. Через некоторое время шарообразный монстр стал к нему выходить. Поначалу он просто смотрел. Потом съедал на глазах у мальчика куски хлеба и наконец заговорил, причем так, будто его рот набит песком.

Он рассказывал, что когда-то был могущественным человеком.

– А как вас звали? Может, папа вас знал?

Чудовище лишь затрясло головой, а лохмотья заколыхались, источая смрад.

– Никому не говорить про я, не говорить! Тайна. Ты и я, тайна!

Виктусь кивал. Никогда прежде он не делил ни с кем тайн. Вернулся домой, переполняемый неведомым доселе чувством, которое так и распирало его изнутри. Это было приятное чувство. Он знал – они нет. Лишь раз он попытался рассказать о своем новом друге Казику, но тот и слушать не захотел. Виктусь не мог понять, как родители могут не знать про Лоскута. Он ведь знал.

На следующий день, вернувшись из школы, он в рамках эксперимента сказал маме, что один мальчик расплакался на уроке. Мама что-то пробормотала и улыбнулась, продолжая штопать штаны. Несколько дней спустя сообщил отцу, что учительница музыки потеряла очки. Дальше – больше. Он выдумывал все чаще, осторожно нащупывая границу, отделяющую неправду от лжи. Не обманывал только Лоскута, поскольку говорить с ним было почти как говорить с самим собой.

Однажды Лоскут показал ему пистолет. Он извлек его из складок одежды и продемонстрировал с улыбкой. У пистолета был тонкий ствол и спусковой крючок в форме полумесяца. Выше ряд цифр: 6795. На шероховатой рукояти блестел пот с руки Лоскута.

– Настоящий!?! – Виктусь протянул руку и тут же ее отдернул.

Лоскут утвердительно кивнул.

– Ты когда-нибудь из него стрелял?

– Штрелял.

– А в кого-нибудь?

– В кого-нибудь.

– И попадал?

Снова кивок.

– И что? Как это?

– Тотунг ист... Шайсе. – Лоскут покачал головой и откашлялся. – Убивать – это самое чудесное, самая прекрасная вещь на свете. Это не можно описать.

– Убивать – самая чудесная вещь на свете, – повторил Виктусь брату, когда они сидели вечером у дома и смотрели на двух старых котов, валявшихся на колодце.

– Откуда это ты знаешь?

– Просто знаю.

– И что, может, уже убил кого?

– Нет. Пока нет... Но, возможно, убью.

– Да конечно.

– Не веришь?

Брат не верил, поэтому они поспорили. Если Казю среди ночи подойдет к хате Дойки и будет стучать в маленькое окошко, пока сумасшедшая старуха не проснется, Виктусь голыми руками задушит одного из двух рыжих котов, которым, пожалуй, и так уже недолго осталось.

Следующей ночью они выскользнули из дома через окно, и Глупышка вместе с ними. Шли по деревне, погруженной во тьму, прислушиваясь к своим шагам и дыханию. Далеко впереди были прогнившие остатки памятника в форме фазана, к которому прилепила свою хату безумная старая Дойка. Когда силуэт соломенной крыши наконец выступил из темноты, Виктусь остановился и сказал:

– Дальше иди один. Я буду смотреть отсюда.

Брат стоял рядом и молча вглядывался в едва заметную халупу. В конце концов, он пошел, а Глупышка, невидимая, кружила где-то над головой. Лишь когда он оказался почти у цели, заметил, что за грязным, жирным окном пляшет огонек свечи.

Кровь шумела у него в висках. Сердце выскакивало из груди. Казю огляделся по сторонам. Ветки, кусты крапивы, камни и какой-то пенек – все утопало в темноте. Он повернулся и посмотрел в ту сторону, где его ждал брат. Сплошная чернота. Забрался на пенек, пошатнулся и ухватился за стену. Слышал, как сердце грохочет во мраке.

В хате горела всего одна свеча. Он несколько раз моргнул. В небольшом помещении получалось разглядеть только глиняную печь, груды тряпок в углу и массивный стол, заваленный мисками.

Священник Кужава (мальчики помнили службу, на которой он с амвона призывал отбивать атаки нечеловеческих чудовищ с бесцветными душами) прижимал толстую Дойку к столу и бился грузным животом об ее бледные морщинистые ягоды. Одной рукой он мял ее грудь с коричневым соском, а другой держал у шеи Дойки маленький блестящий ножик.

Здобыслав Кужава, который за десять лет до этого с аппетитом уминал ветчину из свиной Янека Лабендовича, пока приходской священник стоял в яме в ожидании, когда пуля пронзит его череп и выйдет с другой стороны, лишив его половины лица, – тот самый Кужава работал теперь бедрами, будто внезапно в два раза помолодел, и кричал Дойке на ухо своим писклявым голосом:

– Нравится, да? Любишь такое! Говорил же... В такую ночь никто не должен сидеть дома один, тем более зрелая беззащитная женщина!

Дойка взорвалась истеричным смехом, но быстро затихла, отклоняясь назад и прижимая к себе священника за волосатые ляжки. Поворачиваясь к нему, она бросила взгляд в окно, и вспотевшее лицо скривилось в беззубой улыбке.

Казю спрыгнул с пня и помчался к брату. Сбитая из досок дверь открылась со скрипом, и толстопузая фигура подняла над головой свечу.

– ...какой-то маленький негодник... – донеслось до ушей Казя, рывшего ногами землю. Когда добежал до Виктуса, тот от нервов прямо подскакивал на месте.

- Ну и что? – спросил. – И что?
- Черт возьми... – сопел Казю, упираясь руками в колени.
- И что?!
- Пошли домой. Пока отец не сообразил.
- Ну расскажи.
- Ты же видел.
- Видел только, как открыла дверь. А до этого? Говорила что-то? Ты видел ее вблизи?
- Бурчала чего-то себе под нос. Темно было. Ужасно уродливая и старая. Ладно, завтра твоя очередь.

На следующий вечер Виктусь взял на руки одного из двух рыжих котов, – некоторое время прикидывал, кто из них более неповоротливый, – и связал передние и задние лапы жгутом для снопов. Отнес за овин, под дерево, которое когда-то было драконом, и положил среди сорняков. Кот не обращал внимания на то, что не может двигаться (впрочем, он всю жизнь не обращал внимания почти ни на что), окинул двор взглядом, полным снисхождения, и закрыл глаза.

Виктусь осторожно придавил его коленом к земле, чтобы обездвижить все лапы. Аккуратно приподнял голову, подсунув снизу левую руку. Правой сделал то же самое. Под пальцами чувствовал шершавые стебли травы, а в ладони – мягкую теплую шерсть. Зажал большими пальцами шею. Сильнее. Кот открыл глаза. Еще сильнее.

В вялом звере что-то пробудилось. Стон, успевший вырваться из его горла, больше напоминал крик. Виктусь испугался этого звука и еще крепче сжал руки на дрожавшей, брыкавшейся жизни.

Эта жизнь стала вдруг такой сильной, что Виктусю казалось, будто в его руках не кот, а бык. Голова металась во все стороны, щелкая зубами, более длинными, чем обычно, а связанные лапы выскользнули из-под колена Виктуса и царапали его по ногам, словно желая разорвать на куски.

Мальчик поднял голову и закрыл глаза. Не переставал душить. Чувствовал, как мягкое тело постепенно начинает слабеть в его руках.

- Господи, Виктор!
- Душить, душить, душить.
- Виктор! – голос отца достиг его не сразу.

Он повернулся, и в этот момент сильная рука схватила его, ставя на ноги.

Кот протяжно застонал, впился зубами в ляжку палача и со скоростью, какой от него никто не ожидал, бросился к кустам у поля. Сделав первый прыжок, он перевернулся и покатился в траву. Ян достал из кармана перочинный нож, перерезал веревку, опутавшую кошачьи лапы, и тот пулей унесся за овин. Виктусь молча наблюдал за всем происходящим.

Отец неспешно сложил ножик и убрал его в карман, а затем взял Виктуса за руку и сильным рывком притянул к себе.

- Что ты хотел сделать?!
- Ничего.
- Ничего? Душить кота – это ничего? Отвечай! Черт подери, ты связал ему лапы! Что с тобой?
- Не знаю, – Виктусь шлепнулся попой на землю, по его щекам потекли слезы.
- Отец сел рядом. Дышал тяжело, хрипло.
- Нельзя делать такие вещи, – произнес он наконец. – Боже мой, Виктор.
- А ты никогда никого не душил?
- Душил. Свиной. Я тебе рассказывал. Одна меня чуть не убила.
- И что?
- Как это что?

– Как ты себя чувствовал?

– Как себя чувствовал?!

– Лоскут говорил, что это лучшая вещь на свете.

– Что-что?

– Говорил, что убивать... Говорил, что убивать – самое чудесное.

– Кто такой Лоскут?

– Друг.

– Господи, Виктусь. Убивать? Самое чудесное? Этот твой друг просто псих, ей-богу.

Ян достал из кармана папиросу и долго вертел ее в руках. Потом сунул в рот и закурил.

– Я не скажу маме о том, что ты хотел сделать, а ты не скажешь ей об этом, – пробормотал на выдохе. – Договорились?

Виктусь кивнул.

– Я думал, если его задушу, то, может, что-нибудь почувствую.

– Что почувствуешь?

– Ну, что-нибудь. Что-нибудь.

– Не болтай глупости.

Они сидели в тишине, небо над ними чернело на востоке. Виктусь ощущал в ногах усиливающееся жжение. Красные бороздки вспухали и кровоточили.

Пытался сыграть на травинке, но не выходило. Наконец, когда стемнело настолько, что он с трудом мог разглядеть лицо отца, тихо сказал:

– Папа, почему я не такой, как другие ребята и как Казю?

Отец смял окурок и глубоко дышал, покачивая черным силуэтом головы.

– Знаешь, как они надо мной смеются?

Молчание.

– Называют меня губошлепом. Или заморышем. А те из банды из Квильно бьют по ногам.

– Сынок...

– Я не сочиняю. У меня синяки.

– Послушай, Виктусь. Ты... Ты...

– Говорят, что я чудик и черт.

– Не повторяй таких вещей. Нельзя так говорить. – Абрис отца встал, вздохнул пару раз, снова сел, откашлялся.

– У некоторых людей с самого начала жизнь тяжелая, но ты не такой. Когда я был в тюрьме, ты ведь знаешь, что я сидел, так вот, когда я был в тюрьме, познакомился там с одним человеком, его звали Кшаклевский, он был парикмахером. Мы сидели в одной камере, и этот Кшаклевский хвастался своим сыном, рассказывал, какой же тот способный, а потом признался, что все это выдумки и что его мальчик очень болен. Месяца два назад, когда мы с мамой были в городе, я увидел Кшаклевского на улице. Он шел с сыном, меня не заметил. Его мальчик едва волочил ноги. Весь искореженный, руки как поломанные, голова искривлена. И Кшаклевский тащил его, тащил, а я все думал, какое же счастье, что у меня есть ты и Казю. Слышишь? Вы здоровые мальчики, ты здоровый, умный, очень славный.

Молчание.

– Пошли в дом, – невидимый отец поднялся с земли и отряхнул брюки. – И помни: ни слова маме о том, что здесь...

– Ни слова!

На пороге Ян задержал сына и шепнул ему на ухо:

– А когда пойдешь в понедельник в школу, скажи этому Лоскуту, что он обыкновенный дурак.

\* \* \*

Казю смертельно обиделся. Всякий раз, видя, как оба кота медленно и величественно прохаживаются по двору, чувствовал страшное унижение. Ему казалось, что эти флегматичные шерстяные шары втайне посмеиваются над ним, и что он зря рисковал жизнью, подглядывая за Дойкой.

Он не разговаривал с братом и обходил его стороной. Иногда, завидев, презрительно фыркал и как бы про себя бормотал:

– Размазня...

Поэтому Виктусь все чаще общался с Лоскутом. Он приходил к нему в любую свободную минуту и с облегчением спускался в канаву, в этот темный прохладный мир без битья, взглядов отца и молчащего брата. Лоскут, правда, говорил немного. Главным образом слушал.

Виктусь рассказывал ему о маме, которая целыми днями не произносит ни слова, и об отце, которому каждую ночь снится *Фрау Эберль*, и что отец говорит, как бы хотел разбогатеть, чтобы поехать в Германию и найти ее или хотя бы ее могилу и извиниться перед ней или перед ее могилой за то, что сделал. Рассказывал Лоскуту о том, что мать все свободное время читает и она как бы здесь, но как бы и нет, а еще о том, что Казю не получает в школе тумачков и каждый раз, когда кто-нибудь пристаёт к Виктусю на перемене (то есть очень часто), отворачивается, с кем-нибудь говорит, смеется, или его просто нет, и о том, как он перестал разговаривать с Виктусем, а ведь это отец помешал.

Рассказывал обо всем.

Про кота, которого почти задушил, про Глупышку, которая гадила на газеты, сложенные у напольных часов, про дедушку и бабушку, которых он навещал все реже, потому что отец из-за чего-то с ними поссорился, и даже про якобы богатую тетку из Америки. Со временем мальчик начал углубляться в чужие, услышанные истории. Говорил о *Фрау Эберль* и ее дочерях, о плохом немце, который однажды по ошибке салютовал папе, и о свинье, которая не хотела умирать, но в итоге сдохла, благодаря чему на свадьбе было мясо.

Лоскут задумчиво кивал заросшей головой и порой бормотал что-то на своем языке. Потом они прощались, пожимая друг другу руки, как взрослые мужчины, и это нравилось Виктусю больше всего. Он выкарабкивался из канавы на дорогу, отряхивался и направлялся домой, не замечая, как шар вылезает из зарослей и крадетесь вслед за ним под покровом ночи.

Первый раз Лоскут слегка заплутал, но потом выучил маршрут наизусть. Он шел по полям, как можно дальше от дороги. Когда Виктусь заходил в дом, прислонялся к дереву и осматривал хозяйство, нервно кусая губы. Одной июльской ночью он дождался, когда в доме Лабендовичей погаснет свет, зашел в коровник и изо всех сил метнул камень в стоявшую ближе всех корову. Попал в голову. Животное громко замычало, потом еще раз. Лоскут спрятался за дверью.

Долго ждать не пришлось. Дверь дома закрылась с тихим скрипом. Быстрые шаги.

– Ну что? – спросил Ян Лабендович, остановившись на пороге коровника со свечой. Он осмотрел каждую корову и вышел на улицу. Лоскут стоял в метре от него. Сдерживал дыхание. Слышал сопение мужчины, когда тот клал потушенную свечу на землю и доставал что-то из кармана штанов. Вскоре в воздухе разлился запах сигаретного дыма.

Вздых.

Лоскут вышел из-за двери.

Пистолет он держал за ствол. Ладонь вся вспотела. Мужчина затянулся и слегка запрокинул голову. Лоскут закусил губу, все еще не дыша. Замахнулся. Ударил так сильно, что даже закричал. Услышал удар металла о череп, а затем глухой звук тела, упавшего на землю.

Сигарета выпала у Яна изо рта и погасла в луже густой крови.

## Глава четвертая

Через открытое окно в комнату проникала уличная пыль и кисловатая вонь канализации. Соседка сверху без устали мучила скрипку: даже Конь, лежавший у печи с головой на вытянутых лапах, казался раздраженным и недовольным этой утренней какофонией.

Бронек Гельда сидел на кровати и напряженно вслушивался в свои мысли.

Пыль, вонь и шум – да, Бронечек, все именно так. Так и останется. Ты будешь так жить. Будешь так жить здесь, вдали от рыжеволосой женщины, вдали от всего настоящего, будешь здесь жить и стареть, и постепенно опускаться в могилу, хотя ведь знаешь, что все не так, что все не здесь, не с этими людьми, что все иначе, Бронечек. Ты смотришь на простыню, измятую в ночной кутерьме, на одеяло, напоминающее выжатую тряпку, и хочешь выглянуть в окно и плакать так громко, чтобы тебя услышал весь город, и чтобы весь город от тебя отцепился, поскольку ты не хочешь здесь жить, ты хочешь жить там, но не можешь.

Он вернулся из санатория еще более немощным, чем до отъезда. Бледный, иссохший, под глазами мешки. Двигался медленно, говорил мало. Будь его воля, все время лежал бы в кровати или играл с Милой. Доктор Когуц беспомощно разводил руками.

– Ничем не могу помочь, – говорил он, вытирая вспотевшую лысину. – Принимать солнечные ванны, ходить. Много гулять.

Ни Когуцу, ни Хеле, ни кому-либо другому было невдомек, что болезнь, которой страдал Бронек, жила в шестидесяти километрах от Коло и пахла молоком, как щенок.

И еще эти долги. По приезде он слышал только про них. Мы в долгах, Бронек, в больших долгах, на оплату счетов не хватает, на квартиру не хватает, надо переехать обратно в деревню. Хеля надрывалась в магазине, как проклятая, но чем еще ей было заняться? Ее не мучили эти скользкие, темные чувства, лишавшие Бронька сна, радости и воздуха. Единственным ее огорчением – помимо долгов, разумеется, ибо долги, долги, долги! – было то, что у нее болело горло и иногда зубы. Бронек охотно бы с ней поменялся.

Конь встал с лежанки и нестройной походкой обошел комнату. Высунув из пасти шершавый язык, стал вылизывать им босую пятку Бронька. Шурррр, шурррр, шурррр.

– Конь, оставь меня в по...

Полслова поглотил грохот, внезапно ворвавшийся в квартиру. Пол задрожал под ногами у Бронька, а воздух задержался в легких. Стекла звенели.

На мгновение воцарилась тишина, будто всему вдруг настал конец. Исчез шершавый язык Коня, вонь сточной канавы, движение на всей Торуньской улице и целый город, а вместе с ним и Бронек. В этот миг Бронислав Гельда не существовал и чувствовал себя великолепно. Но вот шестеренки мира вновь закрутились, и все сдвинулось с места: звон выпадающих стекол, автомобильный гудок, ворчание Коня, у которого вздыбилась шерсть на спине, и крики. Кто-то вопил от боли.

Бронек подошел к окну. Дом на другой стороне улицы выглядел так, словно великан с почерневшими зубами откусил у него угол. Языки пламени ползали по крыше. Крики. Громче всех кричала женщина, голова которой виднелась в окне квартиры на втором этаже. Бронек узнал Сташку Пызяк. Она орала, черный дым окутывал ее голову.

Бронек выбежал на лестницу и лишь тогда осознал, что в квартире сестер Пызяк находится его дочь.

В глазах потемнело, стены заплясали. Первая ступенька ударила его в челюсть, второй он уже не почувствовал.

\* \* \*

Лысеющий пан Зигмунт уже давно перестал делать вид, что приходит в магазин «Зеленщик» исключительно за овощами. В этот раз, как всегда, разодетый и причесанный (несмотря на деликатные намеки друзей, он явно не замечал, что зачес ему не идет), он попросил цветную капусту и четыре помидора, а затем его лицо озарилось улыбкой.

Когда Хелена положила товар на прилавок, лысеющий пан Зигмунт перешел ко второму акту своих ежедневных покупок – обязательному комплименту.

– Вы, пани Хелена, как обычно, румяная, – отметил он, слегка наклонив голову, будто хотел проверить, как этот румянец выглядит под углом.

Хелена любезно улыбнулась и, видя, что пан Зигмунт готовится к третьему акту – легкому прикосновению к ее руке во время оплаты, – ответила:

– И, как обычно, замужем.

Пан Зигмунт не растерялся, поклонился и с улыбкой, постепенно сходящей с губ, бросил вдобавок:

– И, как всегда, очаровательно желч...

Реплику прервал грохот, а волна горячего воздуха вырвала из рук купюру и поставила зачес торчком. Пан Зигмунт повернулся и увидел развороченную стену здания.

Хеля в это время уже бежала.

О, мой Господь Вседержитель, Мила, Эмилия, родная, уже бегу, Милечка, сокровище, уже бегу, мама бежит, подожди, о Матерь Божья, о Господи Иисусе, Милечка.

Мир вокруг расплывался, она видела только вход в подъезд, потом лестницу и сорванную с петель дверь в квартиру сестер Пызяк. Перед ней раскинулся лабиринт из горящих простыней. Одни лежали на земле, другие еще держались на почерневших веревках. Хеля вбежала в квартиру, за ней какие-то мужчины, трое или четверо, один схватил ее за пояс и оттащил обратно в коридор.

Она выла.

Удушающая чернота заползала в нос и в горло. Она попыталась вырваться из рук мужчины и тогда увидела, что какой-то верзила в грязном пиджаке выносит Милу. Они спустились, положили ее на траву. Кто-то побежал за врачом.

Девочка лежала с закрытыми глазами. Кожу покрывали кровавые волдыри. В отдельных местах платье приклеилось к красному мясу.

От нее исходило тепло и смрад горелой плоти.

\* \* \*

Говорили, что сестер Пызяк размазало по стенам, как варенье.

Говорили, что это кара за жизнь в постоянном грехе и за отсутствие потомства.

Говорили, что Эмилька Гельда выжила только потому, что в тот момент наклонилась за конфетой, полученной от Сташки и выпавшей у нее из рук.

Говорили, что нужно будет серьезно укреплять поврежденные стены дома.

Говорили, что такие вещи не происходят без причины.

Говорили, что Эмилька никогда не разденется перед мужчиной.

Сташка, потерявшая в результате взрыва четырех сестер и два пальца левой руки, утверждала, что они с «девочками» были очень осторожны с немецкой гранатой, которую Дуся однажды нашла в траве. По ее свидетельству, она хранилась в тумбочке, всегда закрывавшейся на ключ. Судя по всему, граната заржавела, хотя у специалистов по оружию, количество которых в Коло вдруг резко возросло, было больше десятка различных объяснений. Сташка,

однако, предпочитала думать, что дьявол потянул за чеку, ибо версия, что четырех ее сестер убила ржавчина, казалась ей слишком ужасающей.

От трехнедельного пребывания в больнице у Милы в памяти осталась только боль. Она сопровождала ее все время. Будила утром и укачивала перед сном еще долго после заката. Иногда усиливалась с каждой минутой. Иногда пульсировала. Раздирала кожу твердыми ногтями, а потом слепляла и раздирала заново.

Когда Мила вернулась домой, Хелена на два дня закрыла магазин. Они с Бронексом составились в попытках доказать дочери, что все как прежде. Смотрели только на ее лицо – одно из немногих мест, не изуродованных взрывом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.